



“Стихов российских механизм”*

© Л. Л. БЕЛЬСКАЯ,
доктор филологических наук

*Ты в хор вольешься неслучайный
Созвучно-длинных, стройных строф.*

З. Гиппиус

В XX веке в русской литературе развивается новое художественное направление – модернизм с его поэтикой ассоциаций и символов, сознательным отходом от “традиций классической поэзии”, которые представлялись изжитыми, и поисками новых путей (Баевский В.С. История русской поэзии. Смоленск, 1994. С. 189). Появляются манифесты и декларации: “Хвала сонету” и “Глагольные рифмы” К. Бальмонта, “Неуместные рифмы” и “Свободный стих” З. Гиппиус, “Перебой ритма” И. Анненского, “Ямбы” А. Блока, “Мирные ямбы” В. Иванова. Вот как афористически выразил пафос новой поэзии А. Белый: “В строфах – рифмы, в рифмах – мысли Созидают новый свет” (“Брюсову”, 1904). В.Я. Брюсов подчеркивал осмысленность рифменных созвучий:

Созвучья слова не случайны!
Пусть связь речений далека,
В ней неразгаданные тайны
Всегда живого языка.

Парадоксально, что поэты-символисты, теоретизируя, призывая к экспериментам в области стихотворной формы, тем не менее не стремились к новаторству в собственном творчестве, ограничиваясь ту-

* Продолжение. Начало см.: Русская речь. 2004. № 5.

манно-декларативными образами: “Мои стихи – как дым алтарный”; “К словам от слов, от мысли к мысли Сплетенье верных рифм ведет; И строфы, как гирлянды, свисли Над глубиной прозрачных вод” (Брюсов). “Пеку прием: стихи – в начинку”; “рифмой пламенной обрешь” (Белый).

У многих символистов встречаются стихи о стихах, в особенности о рифмах (см. статью С. Андреевского “Вырождение рифмы”, 1901). Именно с символистов началось обновление и возрождение русской рифмы, отказ от ее фонетической точности и грамматической однородности. Бальмонт признавался: “Глагольных рифм избежать не могу”, “В глагольных рифмах сладости немало, Коль рифма рифму вдруг поцеловала”, но сам широко применял “неграмматические рифмы”.

З. Гиппиус в экспериментальных стихотворениях “Неуместные рифмы” и “Негласные рифмы” опробывает начальные и диссонансные созвучия: *шуме-шутке, неводы-нежность, грусти-грубости, весел-чисел, кошмары-меры, понятно-минутно*.

Иногда авторы фиксируют читательское внимание именно на рифмах: «серебристою рифмой “Мари»” (Брюсов); “к Петрограду рифм гулящих стадо” (Гиппиус); “И даже рифмы нет короче глухой крылатой рифмы: смерть” (Блок). Но преобладают метафорические определения: “По строкам рифма вьется, как змея”; “Все рифмы девы – мало жен” (Гиппиус); “тройных созвучий полные аккорды” (Мережковский); “просил у эхо рифм ответных” (Брюсов); “рифм веселых огоньки” (Блок).

Обратимся к программным произведениям символистов, посвященным поэтическому мастерству. К. Бальмонт, гордившийся своей “певучей силой”, “изысканностью русской медлительной речи”, утверждал, что никогда не размышляет над стихами и не сочиняет их (“Как я пишу стихи”), и заявлял, что учился “науке свирельной” не у классиков, а у природы и жизни, непонятно только, почему они подсказывали ему именно классические размеры:

Хореи и ямбы с их звуком коротким
Я слышал в журчаньи ручьев...
Плакучие ветви берез
Мне дали размер амфибрахий,
В нем вальс уплывающих грез.
И дактиль я в звоне ловил колокольном,
И в марше солдат – анапест...
И рифмою чудился мне голубою
Среди желтизны василек.

(“Заветная рифма”)

В отличие от Бальмонта с его восторженной “мимолетностью” и легкостью “перепевных звонов”, И. Анненский считал труд “над гру-

дой листов” кошмарным и сравнивал свои стихи с больными детьми (“Третий мучительный сонет”). Творил он по ночам, стих его, “как ребус, непонятен”, а “разнозвучья” не разрешены (“Мой стих”, Поэту”, “Поэзия”). В “Трилистнике шуточном” речь идет о стиховом ритме, его переборах и ритмических формах – пэонах (безударных стопах).

Как ни гулок, ни живуч – Ям-
-б, утомлен и он, затих
Средь мерцаний золотых,
Уступив иным созвучьям...

Узнаю вас, близкий рампе,
Друг крылатых эпиграмм, Пэ-
-она третьего размер.

(“Перебой ритма”)

Вслед за Анненским о пэоне напишет В. Ходасевич, озаглавив стихотворение “Пэон и цезура. Трилистник смысла” (с явным намеком на предшественника) и представив эти ритмические особенности в человеческом виде – как героев любовной драмы: “Цезура говорит молчаньем – Пэон не прекословит милой”, “Он медленно главу возносит, Растягивая звенья страсти”. Так шутивно обыгрывается семантика ритма – “молчание” постоянной паузы и “растяжение” интонации при пропуске ударения.

Ранний Ф. Сологуб, подражая началу пушкинского “Домика в Коломне”, рассуждает о том, как создавать терцины (“Терцинами писать как будто очень трудно?”, 1894). На вопрос, поставленный в начальной строке, автор отвечает отрицательно, так как тройных рифм достаточно в нашем “многословном” языке. Но в отличие от Пушкина, он бракует 5-стопный ямб (“Звучит, как лай собак, его тягучий звон, и скучный, и неровный”) и избирает 6-стопный, расхваливая и другие размеры: 4-стопный ямб, “то строгий, то альковный”, хореи и трехсложники, в которые “легко вложить и страстный крик, и вопли горести, и строгий символ веры”.

Вначале поэт принимает и белого стиха “глубокие пещеры”, но все же ближе ему рифмованный, который “благоухает и пышной розою, и скромной влагой трав”, и в итоге он выносит белому стиху суровый приговор: “Но темен стих без рифм и скуку навевает”.

З. Гиппиус не признает верлибр. В стихотворении “Свободный стих”, адресованном молодым поэтам, верлибр высмеивается за “сухую ломкость, скрип углов, узор пятнисто-похотливый икающих и пьяных слов”. Категорично и безапелляционно поэтесса осуждает и стих для “ленивых”, и его рабов-сочинителей. А слова “свободный стих” берутся в кавычки, ибо по-настоящему свободным можно на-

звать, с авторской точки зрения, только традиционный, метрический стих.

И чуть запросит сердце тайны,
Напевных рифм и строгих слов –
Ты в хор вольешься неслучайный
Созвучно-длинных, стройных строф.

Через десять лет в насмешливом экспромте «Стихотворный вечер в “Зеленой лампе”» (1927), иронизируя над участниками этого вечера – “перестарками, и старцами, и юными”, в том числе и над собой (“И Гиппиус, ветхая днями”), она вопрошает: “Какой мерою поэтов мерить? О, дай им, о, дай им верить Не только в хорей и ямб!”. Ну как тут не вспомнить пушкинскую иронию по поводу антипоэтических натур: “Не мог он ямба от хорея, Как мы ни бились, отличить”.

Заметим, что, говоря о классическом стихе, поэты чаще всего имеют в виду самые популярные в русской поэзии метры – ямбы и хорей: “За ямбами певший хорей” (Бальмонт о Пушкине); “Как гордились мы русским стихом... Восхищались мы гибкостью ямба Или тем, как напевен хорей” (Е. Дмитриева – Черубина де Габриак).

В. Ходасевичу принадлежит гимн в честь 4-стопного ямба: “Не ямбом ли 4-стопным...” (1938), в котором воспевается “заветный” и “допотопный”, свободный и чеканный ямб, живущий уже два столетия: “Но первый звук Хотинской оды Нам первым криком жизни был”; “По четырем его порогам Стихи российские шумят”; “В нем спит спондей, поет пэон. Ему один закон – свобода. В его свободе есть закон”.

В своем предисловии к поэме “Возмездие” А. Блок назовет ямб “простейшим выражением ритма” эпохи, его “бичами” поэт гоним по миру, подчиняясь его “упругой волне”: “Дроби, мой гневный ямб, каменя!” Сам же Блок не любил рассуждений о стихотворной форме, свою поэзию определял как “созвучья песен и стихов”, подбирая к этим словам многочисленные эпитеты: песни – *скорбные, веселые, последние, грешные, заморские*; песня – *одинокая, щемящая, соловьиная, длинная, зеленой весны*; стихи – *тихие, греховные, несказанные*; воспевал “туманы стиха”, “ручьи моих стихов”, “их тайный жар”.

Любили давать определения к существительным *стихи, строфы, строки, рифмы* М. Волошин и М. Кузьмин: “четкий и звонкий стих”, “гудящие строфы”, “певучая рифма”, “влюбленное созвучие” и “милые стихи”, “сухие строки”, стих – *послушный, скромный, влюбленный, взволнованный*.

Акмειсты в своих произведениях старались не вдаваться в детали стиховых конструкций и обрисовывали их иносказательно. Н. Гумилев советовал стихотворцам избегать соблазнов “перебойных рифм”

и “певучести”: “Пусть будет стих твой гибок, но упруг”; “Твой стих не должен ни порхать, ни биться” (“Поэту”); “Звучит Ахматовой сиренный стих”; “Я говорю и думаю ритмически”; “Грустят валы ямбических морей”.

О. Мандельштам в “шуме стихотворства” больше всего привлекала “фонетика – служанка серафима”, и он слышал долготу и краткость в метрике Гомера и “говор валов” у Батюшкова, “родной звуко-ряд” и “глагольных окончаний колокол”, “звуков стакнутых прелестные двойчатки” и “двойною рифмой оперенный стих”. Поэт был уверен, что “дышит таинственность брака в простом сочетании слов”.

Как и Блок, А. Ахматова именovala свои произведения и стихами, и песнями. В “Тайнах ремесла” она стремится объяснить, как рождаются стихи, из чего возникают – “из какого сора”, вплоть до “плесени на стене”, какими они должны быть (“в стихах все быть должно не-кстати”), у кого и что берет поэт (у природы, музыки, “жизни лукавой” и “ночной тишины”), как появляются первые слова и “легких рифм сигнальные звоночки”. Стихи – это “пыль, и мрак, и зной”, т.е. в них перемешано низменное и высокое, трагическое и смешное, это “клубок противоречий”. И все же в сочетании “священное ремесло” Ахматова делает ударение на первом слове: “Наше священное ремесло Существует тысячи лет...”.

Для Б. Пастернака стихи – природное явление, они родственны свободной стихии. Ливень *пускает в рифму пузыри*, поэзия – это “ночь, леденящая лист” и “двух соловьев поединок”. В юности, по его словам, он корчил из себя “объевшегося рифмами всезнайку”, который привык “выковыривать изюм певучестей из жизни сладкой сайки” (“Спекторский”). Но вскоре почувствовал, что вся ширь пространства “рифмует с Лермонтовым лето и с Пушкиным гусей и снег”, что любовь просится на рифмы и дышит в них, потому что рифмы – не просто “вторенье строк”, а стихи можно разбивать, как сад, внося в них дыханье роз, и можно уместить целый мир в “границах строфы”. Лишь однажды упоминает Пастернак название стихотворного метра – и то в сравнении: “В сухарнице, как мышь, копаются анапест”. О какой рассудочной “алгебре” может идти речь, если “слагаются стихи навзрыд”!

Продолжение следует

*Цфат,
Израиль*



Имя собственное в поэзии А.А. Дельвига

© Д. Н. ЖАТКИН,
кандидат филологических наук

Весной 1829 года, получив в подарок от Дельвига его первую и, как оказалось впоследствии, единственную прижизненную книжку стихов, расчувствованный Пушкин послал другу небольшую бронзовую фигурку сфинкса, а к ней приложил четверостишие, стилизованное в духе произведений, помещенных в прочитанном сборнике:

Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы?
В веке железном, скажи, кто золотой угадал?
Кто славянин молодой, грек духом, а родом германец?
Вот загадка моя: хитрый Эдип, разреши!

Уподобляясь древнему сфинксу, вопрошавшему Эдипа, Пушкин подразумевал, что тройная загадка имеет конкретного адресата: его давнего друга Дельвига, творчество которого испытало на себе влияние древнегреческой культуры.

Дельвиг обращался к переводной драматургии, писал литературно-критические статьи, пробовал себя как прозаик, однако в истории литературы ему было суждено прежде всего остаться поэтом, автором популярных романсов и “русских песен”, многоплановых идиллий, ставших яркими образцами трансформации этого жанра. Наконец, именно он стал родоначальником русского сонета, о чем в 1830 г. писал Пушкин:

У нас еще его не знали девы,
Как для него уж Дельвиг забывал
Гексаметра священные напевы.

Влияние античности на литературную деятельность Дельвига несомненно. Большинство исследователей творчества поэта отмечают у него преимущественное наличие древнегреческих мотивов и образов. “Его муза была в Греции; она воспитывалась под теплым небом Ати-

ки; она наслушалась там простых и полных, естественных, светлых и правильных звуков лиры греческой”, – писал о его поэзии И.В. Киреевский. Справедливость подобных утверждений помогают доказать проведенные нами статистические расчеты: 113 греческих имен употребляются в стихах Дельвига 295 раз, а 26 римских имен – всего 68 раз.

Некоторые собственные имена, используемые им, образуют синонимические пары: Вакх (бог вина и веселья) и Бахус, Киприда (богиня красоты и любви) и Венера. Более частотными оказываются именно греческие мифологические имена. Бога любви Дельвиг предпочитал называть по-гречески Эротом, реже обращаясь к римским Амуру и Купидону; греческое имя бога красноречия и торговли Эрмия используется чаще, нежели его римский аналог Меркурий.

Условные имена в стиле древнегреческих – Амарилла, Дамон, Дафна, Дион, Дорида, Ликориса, Лилета, Мелетий, Микон, Палемон и др. – в большинстве случаев имели прочную традицию в литературе; их можно было встретить не только в сочинениях древних авторов (в эклогах Вергилия, одах Горация), но и в творчестве поэтов более позднего времени – в идиллиях С. Геснера, эротических произведениях Э. Парни, Н. Леонара, а также у А.С. Пушкина и Е.А. Баратынского.

Используемое Дельвигом условно-мифологическое имя Финиас ассоциируется с греческим мифом, согласно которому Финей указал путь аргонавтам. В идиллии “Изобретение ваяния” жестокосердная девушка Харита отвергает ухаживания талантливого юноши Ликидаса, создавшего по воле богов вдохновенную скульптуру; напомним, что в греческой мифологии харитами называли прислужниц Венеры, приносивших радость в человеческие сердца и очаровывавших путников.

Дельвиг нередко упоминает и топонимы – рассказывая о счастливой, беззаботной жизни, поэт пространно описывает чудесную Аркадию – страну, где человеческие судьбы исполнены благополучия и спокойствия: как известно, в древности Аркадией называли гористую область в центре Пелопоннеса в Греции, где население занималось скотоводством. В названии стихотворения Дельвига “Элизиум поэтов” латинское слово “элизиум” обозначает райское место, потусторонний блаженный уголок, где живут праведники (в древнегреческой мифологии – “Елисейские сады”).

Испытывая безмерную скорбь по поводу кончины друга, Пушкин написал к 19 октября 1831 года, очередной лицейской годовщине, прощеские строки: “И мнится, очередь за мной, Совет меня мой Дельвиг милый...”. Вероятно, Александр Сергеевич вспоминал картину из созданной Дельвигом в 1826 году идиллии “Друзья”:

Мы ненадолго расстанемся: скоро мы будем, обнявшись,
Вместе гулять по садам Елисейским, и, с новою тенью
Встретясь, мы спросим: “Что на земле? Все так ли, как прежде?”

В 1815 году Дельвиг написал стихотворение “Пушкину” (“Кто, как лебедь цветущей Авзонии...”), в котором использовал слово “Авзония” (в значении “Древний Рим, Италия”) в метафоре, употреблявшейся прежде в России по отношению к М.В. Ломоносову и Г.Р. Державину. Существенное влияние на автора послания “Пушкину” оказали мотивы од Горация, особенно, как указывают А.Д. Галахов, Ю.Н. Верховский и В.Э. Вацуро, оды третьей из книги четвертой. Именно Гораций был первым, кого называли авзонийским лебедем. Сам он во многих одах сравнивал с лебедем известного античного лирика Пиндара. Обращение к поэту как к “лебедю Авзонии” имеет характер реминисценции из античной литературы (“Царскосельский лебедь” В.А. Жуковского, “Мои Пенаты” К.Н. Батюшкова и др.), постепенно превратившейся в устойчивое выражение.

Глубоко символичным представляется упоминание в оде “К Диону” Ира и Креза – двух известных персонажей античного мира: Ир – нищий, герой гомеровской “Одиссеи”, имя которого стало нарицательным обозначением бедняка; Крез – царь Лидии, прославившийся своим богатством. Среди представителей античного мира поэт чаще других называет в своих стихотворениях поэтов далекого прошлого – Алкея, Анакреона, Вергилия, Гомера, Горация, Катулла, Пиндара. В дельвиговских поэтических произведениях разных лет упоминаются также врач Гиппократ, философ Платон, скульптор Фидий и др.

В стихотворениях Дельвига можно встретить и имена славянской мифологии. Из дошедших до нас произведений подобные мифонимы содержатся лишь в ранней редакции послания “К Яхонтову” и в прозаическом наброске (вероятно, планировавшемся к переработке в идиллию) “Рождение Леля”. В стихотворении названы божества Дагода (Догода) и Мерцана, а в прозаическом наброске, помимо них, – Лада (Лад), Зимцерла, Лед, Лель, Проно, Святovid. Интересно, что в примечании к стихотворению поэт сопроводил имя Мерцана пояснительным комментарием: “Аврора”. Представление об Авроре он получил, вероятно, из лицейских лекций Н.Ф. Кошанского либо из его “Ручной книги древней классической словесности”, изданной в 1816–1817 годах в Санкт-Петербурге. Н.Ф. Кошанский давал такую характеристику этому божеству: “Эос, или Аврора, была богиней утренней зари, или рассвета. Аврору представляли посланницею солнца и предвестницей дня...”.

В славянской мифологии богиня Марцана приносит смерть всем живым существам, кроме человека – “ее жертвы доставляют людям богатые плоды охоты, рыбалки и звероловства” (Грушко Е.А., Медведев Ю.М. Словарь славянской мифологии. Нижний Новгород, 1995. С. 191). Видоизменение имени славянского божества связано со сближением мифонима Марцана и слова “мерцать” по ассоциации. В данном случае поэт не пошел вслед за русской поэтической традицией:

А.Н. Радищев использовал в поэме “Бова” имя Зимцерлы для трактовки образа славянской Авроры. В поэзии Дельвига Зимцерла выступает как славянская Флора.

В стихотворении “Настанет час ужасной брани...” упоминается герой скандинавской мифологии волк-чудовище Фенрис, сидящий на цепи и ожидающий мгновения, чтобы сорваться с нее, поглотить главного бога Одина и озаменовать этим конец света. Б.В. Томашевский увидел в этом образе влияние оссиановских поэм, В.Э. Вацуро – использование мотивов поэм “Старшей Эдды”.

Библейское влияние на ономастикон Дельвига относительно невелико. С одной стороны, в своих произведениях поэт часто обращался к мыслям и образам священных книг, выражая твердую веру в загробную жизнь, с другой – избирал в качестве героев античных богов, являвшихся объектом поклонения язычников, иногда иронизировал над священниками и церковью.

Стихотворения “Элизиум поэтов” и “Разговор с Гением” помогают осознать своеобразную религиозную философию Дельвига: признавая основы православной веры, он не всегда следовал канонам. В дельвиговских стихах упоминается Библия, Бог (он же – Мессия, Саваоф), Николин день (день Святого Николая Чудотворца). Из библейских героев названы Давид и Соломон, отец и сын, причем тексты последнего были для поэта источником житейской мудрости.

Отношение к поучениям Соломона проступает во многих дельвиговских стихах. К примеру, в начальной строфе стихотворения “Друзья, поверьте, не грешно...” содержится современная интерпретация слов ветхозаветного царя: “... не грешно Любить с вином бокал: Вино на радость нам дано – Царь Соломон сказал”. Бесспорно, Дельвиг вспоминал строки, отраженные на страницах Екклезиаста: “Пир устраиваются для удовольствия, и вино веселит жизнь”.

В 1819 году он написал незатейливый экспромт:

Прохожий! здесь лежит философ-человек,
Он проспал целый век,
Чтоб доказать, как прав был Соломон,
Сказав: “Все суета! все сон!”

Используя в эпитафии афоризм царя Соломона “Суета сует, все суета!” (Екклезиаст), поэт придал ему шуточный оттенок.

Романтическими фантазиями проникнуто стихотворение Дельвига “Богиня Там и бог Теперь (К Савичу)”, в котором созданы два неповторимых образа, один из них – бог Теперь – навеян впечатлениями от обстоятельств современности, а другая – богиня Там – связана с иллюзией появления в будущем счастливой жизни. Прием олицетворения наречий места и времени, становящихся именами божеств, Дельвиг

заимствует из произведений В.А. Жуковского: “Ах! найдется ль, кто мне скажет, Очарованное Там...” (“Весеннее чувство”); “О милый гость, святое Прежде, Зачем в мою теснишься грудь?” (“Минувших дней очарованье...”).

Своеобразны написания некоторых имен собственных. К примеру, Торквато Тассо упоминается Дельвигом как Тасс, что говорит о характерной для России первой трети XIX века французской огласовке итальянских фамилий. Бытовавшей литературной традицией можно объяснить и написания Омер и Омир (Гомер), Дон-Кишот (Дон-Кихот), Лаертид (Лаэртид), Ерусалим (Иерусалим), “Федора” (“Федра”, трагедия Жана Расина). Отдельные неточности в семантическом толковании антропонимов также связаны с представлениями эпохи: к примеру, афинская царевна Филомела, превращенная богами в ласточку, символизирует у Дельвига, как и у других поэтов его времени, соловья, хотя, согласно мифологии, соловьем стала ее сестра Прокна.

В дельвиговском “Дифирамбе” (“Други, пусть года несутся...”) звучит призыв наслаждаться земными радостями, поскольку день за днем, год за годом жизнь уходит быстро и безвозвратно. Поэт называет напиток, который лицеисты охотно употребляли в молодости: “Светлый мозель восхищенье Изливает в нашу кровь!”. Мозель – марка французского вина, получившего название по реке, протекающей в районе его производства. О том же напитке Дельвиг говорит и в “За-стойной песне”: “Нам напомнит розы С Мозеля вино”. Ранее писавшаяся с прописной буквы лексема “Мозель” предложена В.Э. Вацуро к написанию в одном из вариантов со строчной буквы. Справедливость мнения ученого подтверждает рассмотрение семантических особенностей использования данной лексемы в каждом из дельвиговских текстов.

В доброжелательном письме к М.А. Максимовичу, датированном началом февраля 1830 года, Дельвиг поздравляет его с выходом первого номера альманаха “Денница”, при этом адресат шутливо именуется Люцифером, что в переводе с латинского означает “светоносец”, также являясь одним из имен дьявола.

Знакомство с произведениями И.-В. Гете, Ф. Шиллера, Ф.-Г. Клопштока, Г.-А. Бюргера, Л.-К.-Г. Гельти, других литераторов сентиментального и предромантического направлений, так же, как и чтение античных авторов, способствовало формированию литературной ориентации Дельвига.

В.М. Жирмунский стремился доказать, что творчество Гете практически не повлияло на литературную деятельность представителей “пушкинской плеяды”: “Немецкий философский идеализм и немецкая философствующая поэзия остаются не только чуждыми, но, в большинстве случаев, даже неизвестными представителям господствующего в 20-х годах литературного направления. Поэтому для Пушкина

и его ближайших соратников – Вяземского, Дельвига, Баратынского, Языкова – влияние Гете не играет сколько-нибудь существенной роли” (Жирмунский В.М. Гете в русской литературе. Л., 1981. С. 105).

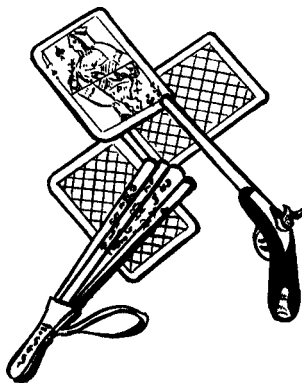
Ученый поставил под сомнение точку зрения И.Н. Розанова, связывавшего идиллии Дельвига “с традицией антологической лирики Гете” (Розанов И.Н. Поэты двадцатых годов XIX века. М., 1925. С. 49). В.М. Жирмунский во многом прав, однако имеются факты, свидетельствующие об обратном – в частности, об интересе, который проявлял Дельвиг к произведениям И.-В. Гете. Помимо созвучного молодому Дельвигу своими элегическими мотивами стихотворения “Близость любовников”, в этой связи можно назвать эпиграф из гетевской элегии “Эфросина” в послании “Пушкину” (“Кто, как лебедь цветущей Авзонии...”), эпиграф из “Певца” Гете в дельвиговской тетради 1819 года и в сборнике произведений поэта 1829 года.

Несмотря на всю значимость иноязычных влияний, Дельвиг неотделим от русской литературы и культуры. По словам Е.А. Энгельгардта, “русскую литературу он изучил лучше всех своих товарищей” и мужественно отстаивал ее красоту и значимость в бесконечных творческих спорах (Мейлах Б.С. Характеристики воспитанников Лицея в записях Е.А. Энгельгардта // Пушкин: Исследования и материалы. М.-Л., 1960. Т. III. С. 142). Вс.А. Рождественский отмечал, что Дельвиг более, чем “многие другие его со товарищи и сверстники по литературе, обнаруживал тяготение к (...) народному и с увлечением писал песни, близкие по духу и по стилю к тому, что создает сам народ” (Рождественский Вс.А. В созвездии Пушкина. М., 1972. С. 171).

Дельвиг постоянно обращался к российской топонимике. Москва упоминается поэтом десять раз, однажды названа Марьино Роща – одно из мест Москвы. Широкий круг топонимов вовлекается в связи с описанием Санкт-Петербурга, названного в стихах Петербургом, Петрополем, Питером. Упоминаются Конная улица, Васильевский остров, район Пески, пятая рота Семеновского полка (впоследствии Рузовская улица). Поэт до конца своих дней не мог забыть и впечатлительный молодости: Царское Село, Царскосельский лицей, Царский сад...

Ономастикон Дельвига отражает не только эрудицию автора, но и его работу со словом, интерес к отечественной и зарубежной истории, процессам общественной жизни первой трети XIX века, российской и мировой культуре.

*Кузнецк,
Пензенской обл.*



Как звали героя повести А.С. Пушкина “Пиковая дама”?

© И. А. БАЛАШОВА,
доктор филологических наук

В повести “Пиковая дама” Пушкин неоднократно называет ее главного героя. Но как правильно писать его имя, и имя ли это?

Германн соотнесен в сюжете с легендарным Сен-Жерменом, о котором рассказывает Томский. В воспоминании о деятельном и великодушном XVIII веке, веке Ришелье и герцога Орлеанского, веке игры и флирта, когда игра была игрой, а любовь любовью, Сен-Жермен предстает искренним и преданным другом, который откликнулся на просьбу дамы помочь ей. “Жермен” созвучно имени “Герман”. Но, как отметил Дж. Шоу, приставка означает, что Сен-Жермен, в отличие от Германа, “совершенный”, “безупречный” (Shaw J. The Conclusion of Pushkin’s “Queen of Spades” // *Studies in Russian and Polish Literature in Honor of Waclaw Lednicki*. Mouton. 1962. P. 114–126).

Для соотнесения героев двух веков Пушкину не нужно было писать имя “Герман” в соответствии с немецкой орфографией с двумя “н”. Как раз наоборот, тематически важное сопоставление характеров ясно тогда, когда это имя написано с одним “н”. И мы видим, что в сохранившейся части пушкинских черновиков герой назван “Герман”. При написании же этого имени с двумя “н” не только затушевывается важное для сюжета сравнение героев, но оказывается неактуально и значение имени главного героя, восходящее к латинскому “germanus”, т.е. “родной, единокровный” (Петровский Н.А. *Словарь русских личных имен*. М., 1984). Заметим, что и в немецком языке имя *Герман* может писаться с одним “н”.

Латинское значение имени главного персонажа повести “Пиковая дама” важно потому, что пушкинский герой претендует на наследство, на которое он не имеет прав. Уступая его претензиям или будучи порождена его воспаленным воображением, ночная гостья Германа открывает ему тайну верных карт с одним условием: он должен оказаться в ряду если не кровных родственников графини, то все же близких ей людей и жениться на ее воспитаннице. Но Герман не обратил внимания на условие графини, и не случайно ее облик изменится, и она усмехнется ему в виде пиковой дамы на роковой для него карте. Не случайно и сцена, когда выказавшего сильное чувство и упавшего в обморок при виде умершей старухи Германа представляют англичанину как ее побочного сына.

Немецкое слово “Hermann” может означать как имя, так и фамилию. Если в повести названа фамилия героя, возможно, и имело бы смысл писать ее с двумя “н”. При этом ударение передвинулось бы на последний слог, и сонорный звук удлинился бы, оправдывая такое написание слова. Но у Пушкина герой назван по имени. Томский (у него, кстати, тоже есть имя, он Paul, князь Павел, как называет его графиня Анна Федотовна) говорит Лизе о знакомом ему инженере: “Его зовут Германном” (Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 6. Л., 1978. С. 228).

Здесь произнесено имя, а не фамилия, и это не сложно доказать. В соответствии с одним из значений глагола “звать” (“именовать, давать имя”) в конструкции с творительным падежом может быть только имя. В Словаре русского языка С.И. Ожегова об одном из значений глагола “звать” говорится: “Именовать, называть. *Его зовут Иваном*”.

Вопрос о сочетаемости также решен в языке в пользу имени: “Как вас (его, ее, кого-либо, друга...) зовут? <...> – речевая формула, которую употребляют, когда спрашивают о чьем-либо имени” (Словарь сочетаемости слов русского языка / под ред. П.Н. Денисова и В.В. Морковкина. М., 1983). Так это и у Пушкина в целом ряде случаев: “Деду в честь он назван Яном”, “Ее сестра звалась Татьяна”.

Важно также, что две буквы в имени Герман не сохранились ни в переводах, ни в языковой практике, и это не случайно. В русском языке нет кратких звуков, а именно на такой гласный “а” указывают “nn” в немецком слове “Hermann”. Свободно владевший немецким, бывший немцем по отцу и матери, но, как он сам считал, не по языку, поскольку обучался русскому у своих нянек, В.К. Кюхельбекер прочитал новую повесть в журнале. Он отметил после прочтения: “... старуха графиня и Лизавета Ивановна написаны мастерски, Герман хорош, но сбивается на модных героев” (Дневник В.К. Кюхельбекера. Л., 1929. С. 214).

Эпизод пушкинского произведения, когда Томский рассказывает об интересном случае из жизни прошлого века, имеет некоторые общие черты с переводом с английского В.И. Туманским повести, оза-

главленной “Вечер накануне нового года, или предвещание”. В выразительном диалоге нескольких героев участвует и некий Герман, чьи умозаключения и наблюдения делают его особенно заметным в разговоре о естественном и сверхъестественном. Перевод был опубликован в журнале “Славянин” (1828). Ч. 5. № 1, 2, и он был известен Пушкину, поскольку во втором номере, где помещено продолжение, напечатаны стихи поэта.

Подтверждает практику написания имени Герман с одним “н” и то, что известный театрал пушкинского времени С.П. Жихарев в “Записках современника” называет фамилию оркестранта немецкого театра Петербурга и пишет ее также с одним сонорным: “Герман и Рудольф – фаготисты” (Жихарев С.П. Записки современника. Воспоминания старого театрала: В 2 т. Т. 2. М., 1989. С. 312).

Ф.М. Достоевский и П.И. Чайковский тоже писали имя героя пушкинской повести в соответствии с закономерностями русского языка с одним “н”. Хотя исследователи творчества Чайковского имя героя оперы пишут с двумя сонорными, композитор в партитуре называет героя иначе; на странице автографа, воспроизведенного в издании “Пушкин в музыке”, читаем: “Лиза стоит с грустью глядя на Германа” (пунктуация оригинала; Пушкин в музыке. М., 1974. С. 338).

В подтверждение соответствующего нормам русского языка перевода немецкого имени в 1820–1830-х гг. напомним и о том, что произведение Гете “Hermann und Dorothea” было переведено в новом издании собрания сочинений поэта, выходившем во второй половине 1820 – начале 1830 гг., и напечатано под заголовком “Герман и Доротея”.

Как же появилась вторая буква “н” в имени пушкинского героя? Существует предположение об этом, основанное на ряде фактов. Пушкин отдал повесть в новый журнал “Библиотека для чтения” и в том же 1834 году переиздал ее. Поскольку в черновиках Пушкина имя героя написано с одним “н”, иное написание могло быть результатом произвольной правки первого издателя повести.

В статье “О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году” Н.В. Гоголь неоднократно подчеркивал редакторский энтузиазм О.И. Сенковского: «В “Библиотеке для Чтения” случилось еще одно, дотоле неслыханное на Руси явление. Распорядитель ее стал переправлять и переделывать все почти статьи, в ней печатаемые, и любопытно то, что он объявлял об этом сам довольно смело и откровенно. “У нас, – говорит он, – в “Библиотеке для Чтения”, не так, как в других журналах: мы никакой повести не оставляем в прежнем виде, всякую переделываем: иногда составляем из двух одну, иногда из трех, и статья значительно улучшается нашими переделками”. Такой странной опеки на Руси еще не бывало».

Писатели, продолжал Гоголь, «видели с изумлением, как на их собственные сочинения наложена была рука распорядителя, – ибо г. Сен-

ковский начал уже переправлять, безо всякого разбора лиц, все статьи, отдаваемые в “Библиотеку”. Он переправлял статьи военные, исторические, литературные, относящиеся к политической экономии и проч., и все делал без всякого дурного намерения, даже без всякого отчета, не руководствуясь никаким чувством надобности или приличия. Он даже приделал свой конец к комедии Фонвизина, не рассмотревши, что она и без того была с концом.

Все это было очень досадно для писателей, решительно не имевших места, куда бы могли подать жалобу свету и читателям» (Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 7. С. 438, 442).

Пушкин был внимателен к языковым особенностям имен, в том числе, и к тем из них, которые имели отношение к двойным согласным. Так, в первых редакциях повести “Пиковая дама” он дает своему герою имя “Герман” и по-разному называет его возлюбленную. Сначала по-немецки: “Теперь позвольте мне покороче познакомить вас с Charlotte”. А позже писатель дважды называет “немочку” по-русски, и это уже “Шарлота”: “Вдова его <...> стала кормиться с Шарлотою трудами своих рук”; “Герман <...> познакомился с Шарлотой...” (Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 6. С. 495–496). Эти факты доказывают, что Пушкин в своей языковой и художественной практике вполне определенно выражал характерную для славянских языков тенденцию к написанию иностранных слов и, в частности, имен, содержащих двойные согласные, с одной согласной.

И, наконец, последнее. О характере участия Пушкина в двух первых публикациях повести “Пиковая дама” 1834 года мы знаем очень мало. Есть лишь некоторые сведения о материальной стороне дела. Известно, что второе издание повести не принесло денег: после выхода книги, включавшей также “Повести Белкина”, весь тираж ее был отдан на откуп книгопродавцу Лисенкову в счет двух ранее выданных поэту векселей. Эти средства исчезли в череде долгов семьи и самого поэта. Обе публикации повести “Пиковая дама”, осуществленные в течение одного года, явно были спешными, и серьезные финансовые проблемы Пушкина (Сергеев В.М. Материальное положение А.С. Пушкина в 1830-е годы // Russian Studies. 1, 3, СПб., 1995. С. 20–103) могут объяснить новое появление произведения без изменения правки Сенковского, который столь уверенно редактировал материалы журнала, где повесть “Пиковая дама” появилась впервые.

Ростов-на-Дону



О СИНТАКСИСЕ ПРОЗЫ ПОЗДНЕГО А.П. ЧЕХОВА

© И. А. АУСЕМ

В повестях и рассказах позднего Чехова с первых же строк происходит погружение в состояние героя, в его настроение. В центре внимания автора находятся именно чувства, которые, с точки зрения писателя, имеют общечеловеческое значение. О событиях же сообщается очень кратко: “Говорили, что на набережной появилось новое лицо: дама с собачкой”. Так дается в рассказе завязка главной коллизии. “Прошла неделя после знакомства”. Так обозначается продолжение взаимоотношений Гурова с Анной Сергеевной.

Точно так же событийное начало отражено и в “Доме с мезонином”: “Я стал бывать у Волчаниновых <...> Больше я уже не видел Волчаниновых”.

Развитие сюжета представлено, как правило, в простых предложениях, сложное (как и в начале “Дамы с собачкой”) состоит не более, чем из двух частей. Предложения обычно не усложнены большим количеством второстепенных членов, не содержат обособлений, вводных конструкций.

О настроениях и чувствах героев говорится иначе, нередко через восприятие ими окружающего: “В комнатах было душно, а на улицах вихрем носилась пыль, срывало шляпы. Весь день хотелось пить, и Гуров часто заходил в павильон и предлагал Анне Сергеевне то воды с сиропом, то мороженого. Некуда было деваться” (Чехов А.П. Собр. соч.: В 12 т. М., 1954–1957. Т. 8. С. 397; далее – только том и стр.). Эмоциональному состоянию персонажей соответствует то, что их окружает. Для самого же текста, передающего чувства героев, характерно появление больших периодов, сложных предложений с различными типами связи между частями.

«У нее в номере было душно, пахло духами, которые она купила в японском магазине. Гуров, глядя на нее теперь, думал: “Каких только не бывает в жизни встреч!” От прошлого у него сохранилось воспоминание о беззаботных, добродушных женщинах, веселых от любви, благодарных ему за счастье, хотя бы очень короткое; и о таких, – как, например, его жена, – которые любили без искренности, с излишними разговорами, манерно, с истерией, с таким выражением, как будто то была не любовь, не страсть, а что-то более значительное; и о таких двух – трех, очень красивых, холодных, у которых вдруг промелькало на лице хищное выражение, упрямое желание взять, выхватить у жизни больше, чем она может дать, и это были не первой молодости, капризные, не рассуждающие, властные, не умные женщины, и когда Гуров охладевал к ним, то красота их возбуждала в нем ненависть, а кружева на их белье казались ему тогда похожими на чешую» (Т. 8. С. 398).

В этом отрывке передаются мысли и чувства героя, возникшие при внутреннем сопоставлении того, что было в его жизни, и того, что он встретил теперь. Характерно, что в рассказ входят сложные предложения, с разными типами связи, с вводными конструкциями.

Подобное усложнение синтаксической структуры повествования при отражении чувств и ощущений героя характерно и для других рассказов. В “Доме с мезонином” это проявляется очень ярко. Как обычно, восприятие всего окружающего отражает настроение героя: “Солнце уже пряталось, и на цветущей ржи растянулись вечерние тени. Два ряда старых, тесно посаженных, очень высоких елей стояли, как две сплошные стены, образуя мрачную красивую аллею. Я легко перелез через изгородь и пошел по этой аллее, скользя по еловым иглам, которые тут на вершок покрывали землю. Было тихо, темно, и только высоко на вершинах кое-где дрожал яркий золотой свет и переливал радугой в сетях паука. Сильно, до духоты пахло хвоем”. Герой подытоживает свой рассказ о поэтической картине и собственных поэтических чувствах: “На миг на меня повеяло очарованием чего-то родного, очень знакомого, будто я уже видел эту самую панораму когда-то в детстве” (Т. 8. С. 89–90). Для подобного рассказа о чувствах героя, о его впечатлениях характерно использование безличных конст-

рукций: “В комнатах было душно”; “Весь день хотелось пить. Некуда было деваться”; “Сильно, до духоты пахло хвоем”.

К этим конструкциям Чехов обращается, например, для передачи состояния героини в повести “Бабье царство”: “... когда она встала, было уже совсем светло и часы показывали половину десятого. За ночь навалило много нового снега, деревья оделись в белое, и воздух был необыкновенно светел, прозрачен и нежен, так что когда Анна Акимовна поглядела в окно, то ей прежде всего захотелось вздохнуть глубоко-глубоко. А когда она умывалась, остаток давнего детского чувства – радость, что сегодня рождество, вдруг шевельнулась в ее груди, и после этого стало легко, свободно и чисто на душе, как будто и душа умылась или окунулась в белый снег” (Т. 7. С. 327).

Для позднего Чехова также характерно частое использование неопределенно-личных конструкций при передаче обстановки, в которую погружен герой: “Дома в Москве уже все было по-зимнему, топили печи, и по утрам, когда дети собирались в гимназию и пили чай, было темно, и няня ненадолго зажигала огонь” (“Дама с собачкой”); “На другой день уже красили на доме крышу и белили стены” (“Душечка”); “Когда вышли в залу, там уже садились ужинать”, “Поговоривши, поехали на вокзал”, “Потом сидели и молча плакали” (“Невеста”).

Подобные конструкции позволяют передавать действие как состояние, процесс развития чувства, хотя речь, казалось бы, не идет непосредственно о переживаниях.

Воспроизводя чувства героя, Чехов использует однородные члены предложения, стремясь максимально детализировать ощущения персонажа. Так, в “Даме с собачкой” о впечатлениях Гурова сказано: “... тут все та же несмелость, угловатость неопытной молодости, неловкое чувство; и было впечатление растерянности, как будто кто вдруг постучал в дверь” (Т. 8. С. 398). Или: “Опыт многократный, в самом деле горький опыт, научил его давно, что всякое сближение, которое вначале так приятно разнообразит жизнь и представляется милым и легким приключением, у порядочных людей, особенно у москвичей, тяжелых на подъем, нерешительных, неизбежно вырастает в целую задачу, сложную чрезвычайно, и положение в конце концов становится тягостным” (Т. 8. С. 395).

Акцентировать настроение героя помогает и употребление градации: “... для него теперь на всем свете нет ближе, дороже и важнее человека”; “... поцелуй был долгий, длительный” (“Дама с собачкой”). Когда Надя Шумина подумала о том, “не поехать ли ей учиться, как все сердце, всю грудь обдало холодком, залило чувством радости, восторга”; “Ворота под домом Гущина темные, глубокие, вонючие...”; “Приближалась длинная, одинокая, скучная ночь” (“Бабье царство”). Надя Шумина в обстановке своего нового дома “видела во всем одну только пошлость, глупую, наивную, невыносимую пошлость” (“Невеста”).

В центре внимания автора находятся чувства героя даже тогда, когда, казалось бы, говорится о его действиях. Вот как отражается ощущение пустоты, все более заполняющей душу героини, в повести “Бабье царство”: “Анна Акимовна прошлась по всем комнатам, легла на диване, прочла у себя в кабинете письма, полученные вечером. <...> Праздничное возбуждение уже проходило, и чтобы поддержать его, Анна Акимовна села опять за рояль и заиграла один из новых вальсов...” (Т. 7. С. 353).

И в “Даме с собачкой” часто глаголы, обозначающие действие, передают психологическое состояние героя: “Он долго ходил по комнате, и вспоминал, и улыбался, и потом воспоминания переходили в мечты, и прошедшее в воображении мешалось с тем, что будет” (Т. 8. С. 403).

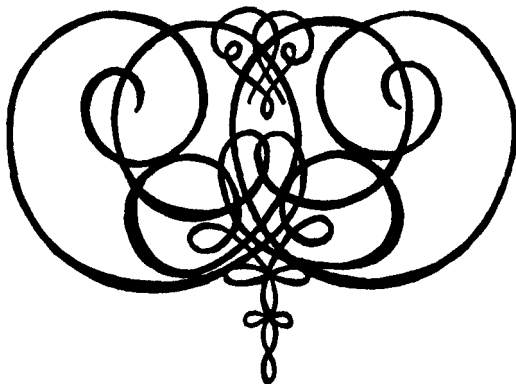
Процессы развития чувства, работы сознания выражаются Чеховым и с помощью сочинительных союзов. Порой они появляются в начале предложения, и подобное использование их весьма значимо. О нарастании чувства в душе героя “Дамы с собачкой” сказано так: “И уже томило сильное желание поделиться с кем-нибудь своими воспоминаниями. Но дома нельзя было говорить о своей любви, а вне дома – не с кем. Не с жильцами же и не в банке. И о чем говорить? Разве он любил тогда?.. И приходилось говорить неопределенно о любви, о женщинах, и никто не догадывался, в чем дело...” (Т. 8. С. 403).

При новой встрече с Анной Сергеевной, когда Гуров приезжает в ее город, он понимает с особой силой, сколь непреодолимо его чувство: “И в эту минуту он вдруг вспомнил, как тогда вечером на станции, проводив Анну Сергеевну, говорил себе, что все кончилось и они уже никогда не увидятся. Но как еще далеко было до конца!” (Т. 8. С. 407). Продолжающееся развитие отношений на новом этапе снова подчеркивается с помощью союза, которым порой открывается не только предложение, начинающее абзац, но и новая глава рассказа: “И Анна Сергеевна стала приезжать к нему в Москву”. Все усиливающаяся значимость и нарастающий драматизм любви передаются в последней главе следующими словами: “И только теперь, когда у него голова стала седой, он полюбил как следует, по-настоящему – первый раз в жизни”. Сочинительным союзом начинается и последний абзац: “И казалось, что еще немного – и решение будет найдено, и тогда начнет-ся новая, прекрасная жизнь; и обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко и что самое сложное и трудное только еще начинается”.

В прозе писателя 90 – начала 900-х годов происходит и эмоциональное приобщение читателя к мыслям и переживаниям героев, достигаемое через музыкальную организацию речевого строя. В некоторых случаях Чехов придает ритмичность повествованию своих произведений, а порой использует и элементы звукописи. Это присуще картинам природы, даваемым через восприятие героя: “В Ореанде

сидели на скамье, недалеко от церкви, смотрели вниз на море и молчали. Ялта была едва видна сквозь утренний туман, на вершинах гор неподвижно стояли белые облака. Листва не шевелилась на деревьях, кричали цикады, и однообразный, глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое, о вечном сне, какой ожидает нас. Так шумело внизу, когда еще тут не было ни Ялты, ни Ореанды, теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет. И в этом постоянстве, в полном равнодушии к жизни и смерти каждого из нас кроется, быть может, залог нашего вечного спасения, непрерывного движения жизни на земле, непрерывного совершенства" (Т. 8. С. 400). Описание отличается замедленным ритмом, который создается длинным рядом однородных членов. Важна и звуковая организация речи: ночная тишина, прерываемая криком цикад, передается через обилие сонорных, а шум прибоя – через аллитерацию, которая выражается в повторе шипящих ("шумело внизу", "теперь шумит и будет шуметь" и т.д.).

В прозе Чехова последнего периода и изобразительное начало, и весь речевой строй произведений воспроизводят "поток сознания" героя, постигающего свою жизнь в ее приобщенности к вечным закономерностям бытия.



Образы А. Толстого, А. Майкова,
Я. Полонского, Ин. Анненского
и поэзия К. Случевского

© П. А. ГАПОНЕНКО,
кандидат филологических наук

Одна из примечательных особенностей творческой индивидуальности К.К. Случевского (1837–1904), русского поэта второй половины XIX века, – органичное освоение им классического литературного наследия. В его стихах слышатся общестилистические отзвуки, осознанно введенные интонации, мотивы и образы многих поэтов, начиная с Г.Р. Державина и кончая Н.А. Некрасовым. Поэт в полном смысле слова переплавил опыт своих предшественников.

С другой стороны, яркое, оригинальное дарование К. Случевского само рождало традицию, его поэзия во многом предвосхитила художественные искания поэтов, чье поколение вступило в литературу на рубеже двух эпох – XIX и XX веков. Отзвуки его поэзии можно обнаружить, например, в творчестве Иннокентия Анненского, тончайшего из русских лириков XX века.

Поэтому особый интерес представляют те стихотворения К. Случевского, которые обнаруживают прямое соответствие стихотворениям других поэтов. Психологические созвучия и параллели, а также образные подобию в них объясняются не столько литературными влияниями (хотя они и не исключаются), сколько типологической общностью, являющейся следствием отражения типичных явлений жизни.

Так, стихотворение “Налетела ты бурю в дебри души!” удивительным образом перекликается со стихотворением А.К. Толстого “Мне в душу, полную ничтожной суеты...”. Сходство их распространяется на проблематику, композицию, метафоризацию языка, интонационно-синтаксическую систему, поэтический словарь.

Приведем оба стихотворения полностью.

А.К. Толстой:

Мне в душу, полную ничтожной суеты,
Как бурный вихрь, страсть ворвалась неожиданно,
С налета смяла в ней нарядные цветы
И разметала сад, тщеславием убранный.

Условий мелкий сор крутящимся столбом
Из мысли унесла живительная сила
И током теплых слез, как благодатным дождем,
Опустошенную мне душу оросила.

И над обломками безмолвен я стою,
И, трепетом еще неведомым объятый,
Воскреснувшему дня пью свежую струю
И грома дальнего внимаю перекаты.

(Толстой А.К. Сочинения: В 2 т. Т. I.
М., 1981. С. 52–53).

К.К. Случевский:

Налетела ты бурю в дебри души!
В ней давно уж свершились обвалы,
И скопились на дне валуны, катыши
И разбитые вдребезги скалы!

И раздался в расщелинах трепетный гул!
Клики радостей, вещие стоны...
В ней проснулся как будто бы мертвый аул,
Все в нем спавшие девы и жены!

И гарцуют на кровных конях старики,
Тени мертвые бывших атлетов,
Раздается призыв, и сверкают клинки,
И играют курки пистолетов.

(Случевский К.К. Стихотворения.
М., 1984. С. 232)

Оба стихотворения запечатлевают силу любви-страсти, внезапно, помимо воли и сознания, овладевающей человеческим существом,

целиком захватывающей его, коренным образом преобразующей привычный, устоявшийся мир души. Это та самая любовь, которую И.С. Тургенев в повести “Вешние воды” сравнил с “революцией”: “... однообразно правильный строй сложившейся жизни разбит и разрушен в одно мгновение, молодость стоит на баррикаде, высоко бьется ее яркое знамя – и что бы там впереди ее ни ждало – смерть или новая жизнь – всему она шлет свой восторженный привет” (Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Т. 8. М., 1981. С. 323–324).

Случевский и А. Толстой уподобляют любовную страсть “буре”, “бурному вихрю”. С помощью условных поэтических формул рисуют они душевный мир своих лирических героев до момента встречи их с всемогущим чувством. “Нарядные цветы”, “сад, тщеславием убранный”, “условий мелкий сор” – этими атрибутами-символами Толстой пытается определить нравственно-психологическое состояние своего лирического героя. В сознании поэта эти детали ассоциируются с суетностью, тщеславием светского общества, в котором нет места подлинно человеческим чувствам и переживаниям.

Случевский в обрисовке душевного состояния своего лирического героя еще резче, “предметнее” – он говорит о “валунах, катышах” души, ее “обвалах”, “вдребезги” разбитых скалах.

Таинственная, “живительная” сила страсти раскрывается в этих стихотворениях так же сходным образом – через развернутые метафоры “благостного дождя”, орошающего “опустошенную” душу – у Толстого и “трепетного гула”, “кликов радостей”, “вещих стонов” у Случевского.

Родство психологических ситуаций, лежащих в основе стихотворений, близкие принципы их воспроизведения оттеняют различие творческих манер Толстого и Случевского.

Неотъемлемая черта поэтики последнего – прозаизмы, ими он пользуется независимо от темы, сплетая их со словами “высокими” и “отвлеченными”. Рядом с поэтическими словами “трепетный”, “клики”, “вещи” – прозаические “аул”, “жены”. Более того, в любовные стихи Случевского вводит “военную” лексику (“призыв”, “клинки”, “курки пистолетов”). Поэт нагнетает детали, нанизывая их одну на другую, чтобы вызвать у читателя нужный эффект.

Толстой в своих чувствах более сдержан, более благороден. “Поклонник музыки благородный”, – так назвал его Фет в посвященном ему стихотворении. О силе страсти Толстой говорит так же впечатляюще, но немногословно: объятый “трепетом” поэт пьет “свежую струю” “воскреснувшего дня” и внимает “перекаты” дальнего грома.

Другие стихотворения К. Случевского – “Рассвет в деревне” и “По небу быстро поднимаюсь...” также представляют собой своеобразные “двойники” стихотворений: соответственно “Рассвет” А. Майкова и “По горам две хмурых тучи...” Я. Полонского. Но и здесь сходство

стихотворений только подчеркивает различие творческих манер их авторов.

Так, Майков сосредоточен на целостной картине рассвета, описание его не дробится на мелкие “кадры”. Изображение природы строится на контрастных – холодных и теплых – тонах, на бледные краски накладывается черная. Между ними располагаются зеленоватая и голубая. Такая звучная оркестровка особенно впечатляет и рождает у читателя ощущение живой и эмоционально яркой картины природы:

Вот – полосой зеленоватой
Уж обозначился восток;
Туда тепло и ароматы
Помчал по степи ветерок;

Бледнеют тверди голубые;
На горизонте – все черней
Фигуры, словно вырезные,
В степи пасущихся коней...

(Майков А.Н. Избранные произведения.
Б-ка поэта. Большая серия. Л., 1977. С. 168).

В отличие от Майкова Случевский в разработке аналогичного пейзажа пристрастен к мельчайшим проявлениям жизни природы, к точной предметной детали. Художнический глаз поэта подмечает все: и *дымящуюся* росу, которая *отлетает* в воздух (какая яркая метафора!), и стоящего по грудь в реке коня, наостряющего “на ранний ветер уши”, и идущий по селу обоз “с богатой кладью жита”, и “покрытую чешуйками” церковь, и седого старика в окне, который “крестится на первый луч рассвета”, и направляющуюся к реке девушку. К зрительным образам подключаются “обонятельные”: запах гвоздики, меда, свежей распаханной земли. Поэта привлекают промежуточные состояния природы. Он стремится зафиксировать не только совершающийся переходный момент, но и готовность к нему: “Готово солнце встать в мерцающей пыли”. В стихотворении “Рассвет в деревне” Случевский воздействует на читателя не красками, не цветовым строем, а энергией и яркостью образов, их подчеркнутой вещественностью:

Огонь, огонь! На небесах огонь!
Роса дымится, в воздух отлетая;
По грудь в реке стоит косматый конь,
На ранний ветер уши наостряя.
По длинному селу, сквозь дымку темноты,
Идет обоз с богатой кладью жита;
А за селом погост и низкие кресты,

И церковь древняя, чешуйками покрыта...
Вот ставней хлопнули: в окне старик седой
Глядит и крестится на первый луч рассвета;
А вот и девушка извилистой тропой
Идет к реке, огнем зари пригрета.
Готово солнце встать в мерцающей пыли,
Крепчает пенье птиц под бесконечным сводом,
И тянет от полей гвоздику и медом
И теплой свежестью распаханной земли...

Типологическое сопоставление с Я. Полонским выявляет ту же особенность Случевского-поэта – мир природы в его поэтической системе наделяется самостоятельным существованием, но он одновременно сопряжен с душевным миром. Природные явления, не утрачивая своей “суверенности”, выступают почти как одушевленные. Иными словами, происходит анимизация вещи, с одной стороны, а с другой – опредмечивание человеческих переживаний. В этом смысле художественный метод Случевского близок психологическому символизму.

Вот его стихотворение “По небу быстро поднимаясь...”:

По небу быстро поднимаясь,
Навстречу мчась одна к другой,
Две тучи, медленно свиваясь,
Готовы ринуться на бой!

Темны, как участь близкой брани,
Небесных ратников полки,
Подъяты по ветру их длани
И режут воздух шишаки!

Сквозят их мрачные забрала
От блеска пламенных очей...
Как будто в небе места мало
И разойтись в нем нет путей?

Приведем для сравнения стихотворение Я. Полонского “По горам две хмурых тучи...”:

По горам две хмурых тучи
Знойным вечером блуждали
И на грудь скалы горючей
К ночи медленно сползали.
Но сошлись – не уступили
Той скалы друг другу даром
И пустыню огласили
Яркой молнии ударом.
Грянул гром – по дебрям влажным
Эхо резко засмеялось,

А скала таким протяжным
Стоном жалобно сказалась,
Так вздохнула, что не смели
Повторить удара тучи
И у ног скалы горячей
Улеглись и обомлели...

(Полонский Я.П. Соч.: В 2 т. Т. I. М., 1986. С. 134).

Как видим, в основе обоих стихотворений сходная ситуация, с той лишь разницей, что у Случевского две тучи “готовы ринуться на бой”, а в стихотворении Полонского они уже, так сказать, ринулись сражаться, не уступив друг другу “горячей” скалы. Полонского интересует само столкновение туч и последовавшие за ним события.

Случевский занят другим – он сосредоточен на описании мчащихся навстречу одна к другой туч, создавая “военные” метафоры: *небесных ратников полки, режут воздух шишаки, мрачные забрала*. Эти непривычно смелые образы свидетельствуют о попытке Случевского освежить язык поэзии, описывающий природу.

Образы природного мира в стихотворении “По небу быстро поднимаюсь...”, как это бывает нередко у Случевского, почти антропоморфны: тучи выступают, как живые люди, воинственные ратники. Не случаен для него и вопрос, которым завершается стихотворение. Вопросительные концовки целого ряда его стихотворений (“В больнице всех скорбящих”, “По крутым по бокам вороного...”, “Устал в полях, засну солидно...”, “По завалинкам у хат...”, “Из тяжких недр земли насильственно изъятые...”, “Если вспомнить, сколько всех народов...”, “Вот новый год нам святцы принесли...” и др.) рождают особое смысловое и эмоциональное напряжение.

Многие образы Случевского созвучны и лирике Ин. Анненского. Связи и аналогии между ними несомненны, хотя преувеличивать их не следует – каждый из этих поэтов самобытен и своеобразен. Поэтическая система, вся лирическая “атмосфера” Анненского, его творческое сознание – особенные, единственные, неповторимые. И все же он испытал определенное воздействие Случевского, который был близок ему изображением тягостного кошмара повседневности, выражением трагического разлада между духовными устремлениями личности и окружающим миром, насыщенностью психологических переживаний, напряженностью душевной жизни.

В лирике обоих поэтов возникает образ одинокого человека трагического мироощущения. Человеческая личность у одного и другого находится в сложных отношениях с внешним миром. Способом связи лирического героя с действительностью нередко служит символ, который, однако, не является средством постижения “потайного” смысла вещей, как это характерно для символистов.

Отдельные стихотворения Анненского как бы “повторяют” стихотворения Случевского, являясь своего рода параллелью к ним. Так, стихотворение “То было на Валлен-Коски” прямо ориентировано на стихотворение Случевского “Кукла” – оба поэта наделяют способностью страдать по-человечески неодушевленный предмет – куклу. Брошенная ребенком кукла в стихотворении Случевского своей “скорбной фигуркой” похожа на человека и вызывает наше сочувствие, как и бросаемая в водопад кукла Анненского:

Бывает такое небо,
Такая игра лучей,
Что сердцу обида куклы
Обиды своей жалчей. <...>

И в сердце сознание глубоко,
Что с ним родился только страх,
Что в мире оно одиноко,
Как старая кукла в волнах...

(Анненский Иннокентий. Стихотворения.
М., 1987. С. 95).

Прочные глубинные связи и у другой пары стихотворений: “Двойника” Ин. Анненского и “Нас двое” К. Случевского. Мотив внутреннего раздвоения восходит к “Двойнику” Ф.М. Достоевского, чьи идеи оказали заметное влияние и на Случевского, и на Анненского. Обоим поэтам Достоевский близок попытками философского осмысления жизни, ощущением иллюзорности, призрачности окружающей действительности с ее острейшими противоречиями, рожающими душевный разлад. В очерке о Достоевском Случевский отмечает близость прозы писателя к поэзии, пишет, что многие места его произведений – почти готовые стихотворения в прозе (Случевский К. Достоевский. Очерки жизни и деятельности. СПб., 1889. С. 35–36).

Поэтому нет ничего удивительного в том, что некоторые стихи Анненского и Случевского, воспринимаются как своеобразные творческие отклики на идеи и настроения Достоевского.

И в разработке темы “двойничества”, раздвоения личности оба поэта, Случевский и Анненский, конечно же, опирались на литературную традицию. Но и сама жизнь, сама эпоха, в которую они жили, были питательной почвой для настроений внутренней раздвоенности. Поэты в поисках цельного мироощущения пытались проникнуть в глубинный смысл жизненных явлений, при этом сознание их раздваивалось, рождая второе “я”. Между ним и поэтом складывались довольно сложные отношения, отражавшие “диссонансы” жизни, ее роковые противоречия.

Следует подчеркнуть, однако, что образ “двойника” ни у Случевского, ни у Анненского не был воплощением таинственной сущности “потустороннего”, как, например, у Андрея Белого. Для них “двойник” был своего рода маской, позволяющей противопоставить свою свободную, ничем не связанную мечту тусклому, однообразному миру повседневности.

Итак, стихотворение Случевского “Нас двое”:

Никогда, нигде один я не хожу,
Двое нас живут между людей:
Первый – это я, каким я стал на вид,
А другой – то я мечты моей.

И один из нас вполне законный сын;
Без отца, без матери – другой;
Вечный спор у них и ссоры без конца;
Сон придет – во сне все тот же бой.

Потому-то вот, что двое нас, – нельзя,
Мы не можем хорошо прожить:
Чуть один из нас устроится – другой
Рад в чем может только б досадить!

Созвучен ему “Двойник” Ин. Анненского:

Не я, и не он, и не ты,
И то же, что я, и не то же:
Так были мы где-то похожи,
Что наши смешались черты.

В сомненьи кипит еще спор,
Но слиты незримой четою,
Одной мы живем и мечтою,
Мечтою разлуки с тех пор.

Горячешный сон волновал
Обманом вторых очертаний,
Но чем я глядел неустанней,
Тем ярче себя ж узнавал.

Лишь полога ночи немой
Порой отразит полыханье
Мое и другое дыханье,
Бой сердца и мой и не мой...

И в мутном круженье годин
Все чаще вопрос меня мучит:
Когда наконец нас разлучат,
Каким же я буду один?

Мучительное раздвоение души, запечатленное в этих двух “равно-великих” стихотворениях с полной художественной убедительностью и психологической достоверностью, тяготит поэтов, мешает им жить: “двойники”, слитые “незримой четою”, мечтают о скорейшей разлуке, когда, наконец, они не будут досаждают друг другу и между ними прекратятся “ссоры” и “вечный спор”, отражающие несуразность и неустроенность бытия.

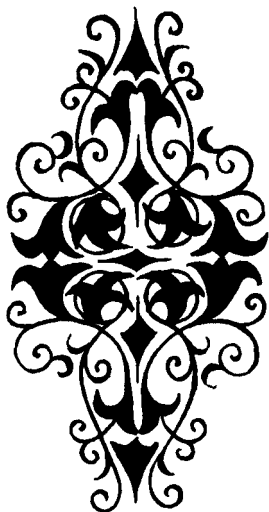
Мотивы психологической раздвоенности впоследствии получат развитие и станут одними из определяющих в поэзии А. Блока начиная со стихотворения 1901 года “Двойнику”. Именно “двойничество” Блок возведет в важнейший принцип поэтики в цикле стихотворений “Страшный мир” (Максимов Д. Об одном стихотворении (“Двойнику”) // Максимов Д. Поэзия и проза Ал. Блока. Л., 1981).

Рассмотренные стихотворения К. Случевского и связанные с ними типологической и отчасти историко-генетической близостью стихотворения поэтов других поколений и творческих судеб могут служить некоторой иллюстрацией его мысли, высказанной им в одной из драматических сцен:

Да, да! Преемственность!.. Она от века,
Как Божий дух, носилась над Россией.

(Случевский К.К. Поверженный Пушкин // Пушкинский сборник. СПб., 1899. С. 254).

Орел



**Пушкинская тема
в романе В.В. Набокова
“Дар”**

© О. Е. ФРОЛОВА,
кандидат педагогических наук

Творчество А.С. Пушкина занимало В.В. Набокова на протяжении всей жизни и как предмет научных исследований, и как литературный эталон, и как материал для собственных произведений.

Как организована и развивается в романе “Дар” пушкинская тема? Одинаковым ли является Пушкин разным персонажам и автору? И если нет, то кем или чем становится он для Набокова и персонажей романа?

Самый прямолинейный способ ввести пушкинское слово в свой текст – цитата. Природа цитирования диалогична: автор либо солидаризируется с чужим словом, либо выступает как его оппонент. Четыре типа употреблений могут быть связаны с чужим словом: 1) свое для своих, 2) чужое для своих, 3) свое для чужих, 4) чужое для чужих (Nikolayeva T.M., Sedakova I.A. Ценностная ориентация клише и штампов в современной русской речи // *Revue des études slaves*. Т. 66. 3. Paris, 1994).

Однако пушкинское слово существует в романе в системе субъектов речи: автора-рассказчика и персонажей, и в каждом случае становится предметом оценки.

Но для Набокова цитация – не единственная составляющая пушкинской темы. Пушкинское слово в “Даре” подчинено структуре художественного произведения. И здесь можно выделить несколько уровней: персонажный, именной, поведенческий, исторический, текстовый. Каждый из них определяет “поведение” “чужого” слова в тексте.

Что же происходит на этих разных уровнях?

На персонажном уровне цитируемый автор или его персонаж вводятся в ткань “Дара” наравне с другими героями. Речь идет не просто об упоминании их имен в набоковском романе – они именно как “живые” люди включаются в сюжетную ткань. Сам Пушкин тоже делается персонажем “Дара”.

Поведенческий уровень предполагает ориентацию героя на манеры великого поэта.

На историческом уровне Набоков вводит в свое произведение упоминания о событиях жизни Пушкина.

На именном – в роман включаются имена персонажей или людей из пушкинского окружения, причем в этом случае антропоним упоминается как имя персонажа или отчуждается от своего носителя и присваивается другому лицу. Отличие именного уровня от персонажного в том, что на данном уровне имя собственное не влечет за собой появления персонажа, который включался бы в сюжет.

Наконец, на текстовом уровне в набоковский роман “вплетаются” цитаты или аллюзии из пушкинских текстов.

Для анализа текста романа существенно, в речи какого персонажа возникает та или иная цитата.

Персонажный и именной уровни определяют характер единиц – это антропонимы. Поведенческий и исторический уровни объединяются только вокруг одного имени – Пушкин – и фигуры самого поэта. На другом полюсе – текстовый уровень, заставляющий обратиться непосредственно к пушкинскому слову.

Таким образом, можно говорить о двух типах источников цитирования – внелитературная действительность: жизнь Пушкина, его окружение, и мир его прозы и поэзии.

Посмотрим, как развивается пушкинская тема на разных уровнях романа.

На текстовом уровне его слово активно присутствует в “Даре”. Список пушкинских источников чрезвычайно широк: “Домик в Коломне”; “Евгений Онегин” (включая черновики); “Дар напрасный, дар случайный”; “В прохладе сладостной фонтанов”; “Мы рождены, мой брат названный”; “Стансы”; “Разговор книгопродавца с поэтом”; “Не пой, красавица, при мне”; “19 октября”; “Румяный критик мой, насмешник толстопузый”; “Путешествие в Арзрум”; “Художнику”; “Барышня-крестьянка”; “История Пугачева”; “Капитанская дочка”; “Элегия”; “На холмах Грузии”; “Путешествие из Москвы в Петер-

бург”; “Сапожник”; “Стамбул гяуры нынче славят”; “Борис Годунов”; “Опровержение на критику”; “Египетские ночи”; “Угрюмых тройка есть певцов”; “Я памятник себе воздвиг нерукотворный”; “Вновь я посетил”. Стихи, эпиграммы, проза, драма, критика.

Автор романа играет с читателем, заставляя его угадывать произведения по цитатам и давая пушкинские названия текстам писателей русской эмиграции (“Русалка”). Но уже на первый взгляд ясно, что автору близко прежде всего позднее творчество Пушкина. Чаше, чем к другим произведениям, Набоков обращается к “Евгению Онегину” (пять раз, включая черновики) и “Египетским ночам” (четыре раза).

На именном уровне Набоков наделяет фамилиями пушкинского окружения незначительных персонажей, например: Данзас, инженер Керн. Более того, он считает возможным выразить свое отношение к современному советскому пушкиноведению, давая фамилию Щеголев одному из малоприятных персонажей. Другой награжден фамилией Линев, становясь однофамильцем художника-дилетанта, оставившего последний прижизненный портрет Пушкина.

Двойная фамилия главного персонажа Годунова-Чердынцева одновременно отсылает читателя и к русской истории, и к ее интерпретации Пушкиным. Автор рассчитывает на читательскую эрудицию, задавая ему загадки: восстановить из ряда Лишневский, Шахматов, Ширин “пушкинские” фамилии Шихматов, Шаховской, Шишков. Среди упомянутых в романе лиц – Арина Родионовна.

Поведенческий уровень разработан значительно скупее. Некоторым пушкинским привычкам следует главный герой, совершая прогулки с тяжелой железной палкой.

На историческом уровне Набоков вспоминает поступки Пушкина, места, где он побывал.

Наконец, на персонажном уровне виртуальный Пушкин является странным героем розыгрыша: молодежь в семье не говорит о гибели поэта приехавшему из-за границы Кириллу Ильичу Годунову-Чердынцеву, деду рассказчика.

Если мы последуем логике произведения и исследовательскому приему Ю.Д. Апресяна, опирающемуся при интерпретации романа на содержание глав, картина изменится (Апресян Ю.Д. Роман “Дар” в космосе Владимира Набокова // Избранные работы. Т. II. Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995. С. 651–694). Апресян здесь следует самому Набокову, который в предисловии к английскому переводу “Дара” 1962 года писал: «Сюжет первой главы сосредоточен вокруг стихов Федора. Глава вторая – это рывок к Пушкину в литературном развитии Федора и его попытка описать отцовские зоологические экспедиции. Третья глава сдвигается к Гоголю, но подлинная ее ось – это любовные стихи к Зине. Книга Федора о Чернышевском, спираль внутри сонета, берет на себя главу четвер-

тую. Последняя глава сплетает все предшествующие темы и намечает контур книги, которую Федор мечтает когда-нибудь написать, – “Дара”» (Набоков В.В. Предисловие к английскому переводу романа “Дар” (“The Gift”) // В.В. Набоков: Pro et contra. СПб., 1999. С. 50).

Но сначала обратимся к заглавию и финалу романа.

Автор поместил пушкинское слово в сильные позиции текста: заголовков и конец романа. По выражению Ю.М. Лотмана, “если начало текста в той или иной мере связано с моделированием причины, то конец активизирует признак цели” (Лотман Ю.М. Структура художественного текста // Об искусстве. СПб., 1998. С. 208).

Что касается заглавия, сближение его с одноименным пушкинским стихотворением возникает, когда текст уже прочитан. Аллюзия финальных строк, явно узнаваемых, перекликающихся с последними строками “Евгения Онегина”, заставляет читателя вернуться к началу романа. И тогда активизируется заложенная автором перекличка с пушкинским стихотворением 26 мая 1828 года:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?

Активизация диалога Набокова и Пушкина уже в заголовке романа, отсылающего читателя к пушкинскому вопросу, окрашивается трагически при сопоставлении заглавия с его эпитафией: “Дуб – дерево. Роза – цветок. Олень – животное. Воробей – птица. Россия – наше отечество. Смерть неизбежна” (Набоков В.В. Собр. соч.: В 5 т. Т. 4. СПб., 2000. С. 191; далее – только стр.). Можно сказать, что ответом на подразумеваемый в заглавии вопрос служит сам роман.

Точка же поставлена в финале “Дара” набоковской стилизацией под финальные строфы “Евгения Онегина”: “Прощай же, книга! Для видений – отсрочки смертной тоже нет. С колен поднимется Евгений, – но удалется поэт. И все же слух не может сразу расстаться с музыкой, рассказу дать замереть... судьба сама еще звенит, – и для ума внимательного нет границы – там, где поставил точку я: продленный призрак бытия синее за чертой страницы, как завтрашние облака, – и не кончается строка” (541). Вопрос заглавия, “отягощенный” эпитафией, мы рискнули бы переформулировать так: каков смысл жизни, если она конечна по определению? Ответ финала дается в перекличке с текстом “Евгения Онегина”.

Набокова и Пушкина объединяет осознанное расставание с собственным трудом и текстом: “Прощай же, книга!” – говорит романист. В “Евгении Онегине” читаем:

Прости ж и ты, мой спутник странный,
И ты, мой верный идеал,
И ты, живой и постоянный,
Хоть малый труд.

Существенно и различие, которое осознает Набоков: для него с удалением автора начинается жизнь книги: “и не кончается строка”, реальная физическая жизнь преодолевается новым “призрачным” существованием. Для Пушкина же важнее расставание с читателем:

Кто б ни был ты, о мой читатель,
Друг, недруг, я хочу с тобой
Расстаться нынче как приятель.
Прости.

Можно сказать, что Пушкин, заканчивая свой труд, уже находится “вне” своего романа, а Набоков – еще “внутри” своего творения. И это не удивительно. Сознательное отделение Пушкиным себя от своего героя известно:

Всегда я рад заметить разность
Между Онегиным и мной <...>

Как будто нам уж невозможно
Писать поэмы о другом,
Как только о себе самом.

Между тем субъект речи в “Даре” таков, что 3-е л. ед. ч. несколько раз переходит в 1-е л. ед. ч., и это позволяет автору быть одновременно и персонажем романа и, оставаясь “внутри” произведения, не протаться с читателем.

А теперь проследим за движением пушкинского имени по главам набоковского романа и определим, как меняется восприятие Пушкина главным героем и рассказчиком.

В первой главе, посвященной стихам Ф.К. Годунова-Чердынцева, текстам и сочинению стихов как процессу, упоминаются поэма “Домик в Коломне”, которая начинается, как известно, с обоснования выбора строфики, и стихотворение “В прохладе сладостной фонтанов...”, повествующее о волшебном поэте.

Александр Яковлевич Чернышевский, отец покончившего с собой молодого поэта Яши, заказывая Годунову-Чердынцеву книгу о сыне, обращается к “Разговору книгопродавца с поэтом” и “Евгению Онегину”, причем стих *Я не предвижу возражений* касается приготовлений Онегина к дуэли с Ленским. С Яшей Чернышевским связано упоминание неевского гранита из первой главы “Евгения Онегина”. Невский гранит – один из предметов стихотворного творчества самого Яши.

С душою, полной сожалений,
И опершись на гранит,
Стоял задумчиво Евгений,
Как описал себя пинт.

Набоков здесь обращается еще и к графическому наследию поэта, упоминая “невский” гранит, на котором едва уж различим след пушкинского локтя, и имея в виду рисунок поэта к “Евгению Онегину” в письме брату Льву от ноября 1824 г.

Цитата из “Не пой, красавица, при мне” возникает применительно к творчеству близкого Чердынцеву Кончеева. В их разговоре всплывает как тема для беседы цитата из “19 октября” и упоминается незаконченная “Русалка”. И, наконец, стихотворение, которое сочиняет Чердынцев, как указывает А. Долинин в комментарии к роману, восходит к строфе XLV шестой главы с существенной разницей: Пушкин благодарит юность, а Набоков отчизну. Пушкин – *за милые мученья*, а Набоков – *за злую даль, за изгнание*.

В этой же главе встречаются фамилии из пушкинского окружения, которые носят уже совсем другие люди, но, тем не менее, волею судьбы Годунов-Чердынцев встает в их ряд. “Mme Ducamp... прикидывала, куда бы вписать нас с Таней, и наконец, с усилием и скрипом, пропихивала перо промеж la Princesse Toumanoff с кляксой в конце и Monsieur Danzas с кляксой вначале” (205). Однако в первой главе цитаты еще не концентрируются вокруг своего создателя, а “пушкинские” имена присвоены незнакомым людям: княгиня Туманова, мосье Данзас, инженер Керн.

Что касается Годунова-Чердынцева, для него в первой главе Пушкин, прежде всего, связан со стихотворным мастерством. В финале главы Чердынцев и Кончеев рассуждают о русской литературе, вершиной которой является великий поэт. Его имя и притяжательное прилагательное упоминаются три раза.

Во второй главе ситуация меняется. Занимаясь историей своего отца, Чердынцев обращается к прозаическим произведениям и жизни Пушкина. Его образ “разворачивается” для рассказчика. В этой главе Набоков также прибегает к чередованию 1-го и 3-го л. ед. ч., ведя повествование то от имени автора, то от Чердынцева. Мир воспоминаний его детства, проведенного в России, населяют персонажи пушкинской прозы. «Он питался Пушкиным, вдыхал Пушкина, – у пушкинского читателя увеличиваются легкие в объеме. Учась меткости слов и предельной чистоте их сочетания, он доводил прозрачность прозы до ямба затем преодолевая его, – живым примером служило:

*Не приведи Бог видеть русский бунт,
бессмысленный и беспощадный.*

Закаляя мускулы музыки, он, как *с железной палкой*, ходил на прогулку с целыми страницами “Пугачева”, выученными наизусть. Навстречу шла *Каролина Шмидт*, девушка сильно нарумяненная, вида скромного и смиренного, купившая кровать, на которой умер *Шонинг*.

За грюневальдским лесом курил трубку у своего окна похожий на *Симеона Вырина* смотритель, и так же стояли *горшки с бальзамино*. Лазоревый *сарафан барышни-крестьянки* мелькал среди ольховых кустов» (здесь курсив наш. – О.Ф. С. 280).

В этом отрывке чрезвычайно высока концентрация имен пушкинских персонажей и цитат, представленных на текстовом, именном, поведенческом уровнях. Автор апеллирует не к поэзии, как в первой главе, а к пушкинской прозе (“Мария Шонинг”, “Станционный смотритель”, “История Пугачева”, “Капитанская дочка”, “Барышня-крестьянка”). Имена персонажей не отчуждаются от носителей, литературные герои населяют реальную жизнь. Возникает и имя няни, реального человека, тесно связанного с Пушкиным, потому что “няню к ним взяли оттуда же, откуда была Арина Родионовна” (281). Так для Чердынцева стихи Пушкина соединяются с его персонажами, собственными привычками, семейным укладом.

Для старшего Годунова-Чердынцева Пушкин – одна из трех книг, которые он брал с собой в экспедиции.

Погружаясь в материалы об отце все больше, Чердынцев находит “Очерки прошлого” А.Н. Сухощкова, который описывает случай с его дедом, Кириллом Ильичем – его мемуарист называет Ч. (Чердынцев ссылается на его воспоминания, и весь отрывок дан как большая цитата). Желая разыграть бывшего за границей Ч. и не сообщив ему о смерти Пушкина, молодежь отправилась в театр.

«Посмотрите, кто с нами рядом», – вдруг обратился вполголоса мой братец к Ч. – (...) В соседней ложе сидел старик... Небольшого роста, в поношенном фраке, желтовато-смуглый, с растрепанными пепельными баками и проседью в жидких, взъерошенных волосах... толстые губы вздрагивали, ноздри были раздуты, при иных пассажах он даже подскакивал и стучал от удовольствия по барьеру, сверкая перстнями.

“Кто же это?” – спросил Ч. (...)

Тогда мой брат сделал большие глаза и шепнул:

“Да ведь это Пушкин!”» (283–284).

В фокусе внимания оказывается здесь не Кирилл Ильич, а Сухощков, потому что процитированный фрагмент дан в его восприятии от 1-го л. ед. ч. как зрительно воспринимаемый и происходящий как бы на глазах читателя. Сухощков “узнает” Пушкина в одном из зрителей театра, сам поддается магии обмана.

Поэт входит в жизнь семьи Чердынцевых как собеседник: он пишет в альбом тетки деда Чердынцева стихи “О, нет, мне жизнь не надоела” – парафраз на тему чернового наброска в редакции А.Ф. Онегина.

Описывая свои взаимоотношения с отцом, Чердынцев обращается к “Капитанской дочке”. Трагическая гибель отца в первые годы революции вызывает в памяти рассказчика “Историю Пугачева”.

В этой же главе на именном и персонажном уровне встречается одно отчужденное имя: фамилия известного пушкиниста Павла Елисеевича Щеголева присвоена отчиму Зины. Несмотря на то, что Набоков обращался к его пушкиноведческим трудам, работая над «Комментариями к “Евгению Онегину”», позиция, занятая Щеголевым в советском обществе, не вызывала сочувствия ни у Набокова, ни у близкого ему Ходасевича (Ходасевич В.Ф. Памяти П.Е. Щеголева // Возрождение. 1931. 29 янв.). Щеголев был соавтором А.Н. Толстого, к которому Набоков относился резко отрицательно (см. Долинин А. Три заметки о романе Владимира Набокова “Дар” // В.В. Набоков: Pro et contra. СПб., 1999. С. 724). Однако какие именно обстоятельства жизни советского пушкиниста были известны Набокову, чтобы сделать столь кардинальный сдвиг, нам неизвестно.

Вторая глава дает и резкий рост числа упоминаний имени *Пушкин* и притяжательных прилагательных, от него образованных – 20 раз.

В третьей главе обращение к пушкинскому творчеству резко сокращается. Упоминается статья о мастерстве стихосложения – “Путешествие из Москвы в Петербург”. Имя *Пушкин* встречается только четыре раза.

В четвертой главе, которая представляет собой роман Годунова-Чердынцева о Чернышевском (роман в романе), роль Пушкина и его произведений меняется. Как и вторая глава, эта дает чрезвычайно большое число упоминаний пушкинского имени – 27 раз.

Центральный персонаж этого второго романа – Н.Г. Чернышевский, идейный противник пушкинской поэтики. Причем во второй и пятой главах Набоков прибегает к повторению нарративного приема: подобно тому, как эпизод с “появлением” в театре Пушкина дан со ссылкой на не существовавшего А.Н. Сухощкова, описание жизни Чернышевского приводится со ссылками на некоего мифического Страннолюбского, так и не отмеченного в тексте романа ни именем, ни отчеством, ни инициалами. Пушкин становится заочным оппонентом и объектом критики русского социал-демократа. Автор обращается к критическим отзывам о произведениях поэта.

Определение роли и места Пушкина в русской культуре в свою очередь порождает ряд “сопутствующих” имен: с одной стороны, Г.Р. Державин, как учитель Пушкина, с другой стороны – прижизненные и посмертные критики Н.И. Надеждин, М.С. Воронцов, С.С. Уваров, Н.А. Добролюбов. Причем Н.Г. Чернышевский оказывается на стороне последних. В связи с правомерностью критики возникает притча “Сапожник”.

Таким образом, имя Пушкина в “Даре” становится средоточием разных мнений и причиной возникновения конфликтного диалога. С одной стороны, Пушкин – объект посмертной критики. С другой стороны, Пушкин выступает как оппонент упрощенной, прагматически ориентированной и идеологизированной культуры, сторонником ко-

торой был Чернышевский. И в этой связи именно в четвертой главе возникает двукратное обращение к незаконченной повести “Египетские ночи”, в которой главная тема, даваемая Чарским импровизатору: “поэт сам избирает предметы для своих песен; толпа не имеет права управлять его вдохновением” – высказывание, процитированное уже в пятой главе.

Можно сказать, что за спиной Чернышевского для Набокова всегда стоит его оппонент Пушкин.

В последней главе полемика продолжается. Однако количество упоминаний пушкинского имени опять сокращается – три раза. Теперь на стороне Чернышевского выступают критики книги Чердынцева. В рецензии на роман Чердынцева о Чернышевском Мортус говорит как оппонент обоих. «О, разумеется, – “шестидесятники” и, в частности, Чернышевский высказывали немало ошибочного и, может быть, смешного в своих литературных суждениях. (...) Но в общем “тоне” их критики сквозила какая-то истина, – истина, которая, как это ни кажется парадоксально, стала нам близка и понятна именно сегодня, именно сейчас. (...) Мне кажется, что... в каком-то последнем и непогрешимом смысле наши и их требования совпадают. (...) и нам, как и им, Некрасов и Лермонтов, особенно последний, ближе, чем Пушкин. (...) То холодноватое, хлыщеватое, “безответственное”, что ощущалось ими в некоторой части пушкинской поэзии, слышится и нам» (478).

Неслучайны повторное обращение к “Египетским ночам” и скрытая отсылка к ранней эпиграмме Пушкина “Угрюмых тройка есть певцов”. В воображаемом разговоре с Кончеевым возникает тема славы и признания. Кончеев иронически вспоминает в этой связи Eхegi monumentum, а Чердынцев – “... Вновь я посетил”.

Набоков смоделировал и разные типы *образа Пушкина*, существующие в читательском сознании. Во-первых, это Пушкин в восприятии Годунова-Чердынцева и Кончеева. Для профессиональных поэтов, которые могут вести нескончаемые беседы о литературе, Пушкин – коллега, поэт и прозаик, мастер слова – профессионально недостижимая вершина. «Разве там вы не найдете слабостей? “Русалка” –. Не трогайте Пушкина: это золотой фонд нашей литературы» (257). Кроме того, Набоков показывает, что восприятие Пушкина способно меняться и может быть многогранным. Во второй главе для Чердынцева Пушкин предстает как реальный человек. Поэтому возникают отсылки к его прозе, в частности документальной, к “Путешествию в Арзрум” и “Истории Пугачева”. Поэтому литературные персонажи переходят в жизнь. Второй тип восприятия представляют Н.Г. Чернышевский и его идейные союзники: если относиться к искусству утилитарно, то Пушкин – пример “бессмысленного сочетания слов”.

Анализ включения пушкинских цитат в текст романа позволяет сделать вывод о том, что появление той или иной цитаты далеко не случайно. Пушкинское слово дублирует основные смысловые вехи текста романа. Можно сказать, что в “Даре” образ Пушкина то сгущается (во второй главе), то разрежается (в третьей главе), то снова сгущается (в четвертой), но его слово и имя становятся линиями, связывающими текст набоковского романа в единое целое. Пушкин дает Набокову вокабуляр, показывает, каким должно быть отношение к творчеству, какой должна быть литературная критика (на примере от противного) и формирует некий эталонный образ подлинной культуры.

Последний, наверное, самый главный вопрос, почему же Годунов-Чердынцев, при всей близости ему личности и творчества Пушкина, не стал писать книгу о нем, почему замыслы книги об отце также не были воплощены? Почему вместо того, чтобы написать о людях, духовно родственных, Чердынцев обратился к личности, не только противоположной всему его существу по культуре и интересам, но и антипатичной? Один из возможных ответов мы найдем в повторяемых автором композиционных приемах в “Подлинной жизни Себастьяна Найта”, “Машеньке”, отчасти в “Лолите” – это отказ главного героя от попытки вернуть прошлое и самому вернуться в него, потому что это невозможно. Как нельзя вернуть любимого отца, так невозможно повторить и воссоздать Пушкина.

“Говорят, – писал Сухощоков, – что человек, которому отрубили по бедро ногу, долго ощущает ее, шевеля несуществующими пальцами и напрягая несуществующие мышцы. Так и Россия еще долго будет ощущать живое присутствие Пушкина. (...) Тройная формула человеческого бытия: невозвратимость, несбыточность, неизбежность – была ему хорошо знакома” (281).



***Всадник мертвый и коня белеющего без
в поэме И.А. Бродского “Петербургский роман”***

© А. М. РАНЧИН,
доктор филологических наук

В поэме Бродского “Петербургский роман” (1961) главный герой Евгений соотнесен с Евгением из пушкинского “Медного Всадника”, а также с его литературным потомком и тезкой из “Петербургских строф” Мандельштама (См.: Михненко Т. Три Евгения русской литературы // Иосиф Бродский и мир. Метафизика. Античность. Современность. СПб., 2000. С. 211–220; Ранчин А.М. “На пиру Мнемозины”: Интертексты Иосифа Бродского. Научная библиотека “Нового литературного обозрения”. М., 2001. Вып. 30. С. 264–270).

Евгений из “петербургской повести”, в противоположность Петру, наделен чертами мертвенности, неподвижности: спасающийся на мраморном льве, “недвижный, страшно бледный”, он выглядит пародией на Фальконетов монумент: “державец полумира” в неподвижной, но полной жизни величавости, не боящийся стихии, верхом на скакуне и испуганный, оцепеневший от отчаяния Евгений верхом на мраморном льве. Между тем в “Петербургском романе” Бродского Евгений – “живой и мертвый человек”, а Медный всадник – не более чем *мертвая и неподвижная статуя*:

Он смотрит вниз, какой-то праздник
в его уме жужжит, жужжит,
не мертвый лыжник – мертвый всадник
у ног его теперь лежит.

Он ни при чем, здесь всадник мертвый,
коня белеющего бег
и облака. К подковам мерзлым
все липнет снег, все липнет снег

(Бродский И.А. Соч.: В 4 т. СПб., 1992.
Т. 1. С. 82).

Пушкинский эпитет “медный” превращается в эпитет созвучный, но несхожий по смыслу – “мертвый”. Прежний Евгений, чтобы увидеть полубожественного Всадника, поднимал взор в “неколебимую вышину”. Евгений из “Петербургского романа” смотрит на поверженную статую, лежащую у его ног.

Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?

Так вопрошал Пушкин, полный надежд, что “гордый конь” – Россия – остановится у края бездны или перелетит через нее. Медный всадник из “Петербургского романа” бездны не перепрыгнул... Власть низверглась в пропасть, одинокий робкий Евгений жив. Он выиграл в поединке. Такой хочет видеть развязку пушкинского сюжета Бродский. Автор “Петербургского романа”, вероятно, следует здесь за Мицкевичем – автором стихотворения “Памятник Петра Великого”, в котором нарисована сходная картина – не как реальность, а как ожидание; в стихотворении Мицкевича Пушкин говорит собеседнику – самому Мицкевичу:

Царь Петр коня не укротил уздой.
Во весь опор летит скакун литой,
Топча людей, куда-то буйно рвется.
Сметая все, не зная, где предел.
Одним прыжком на край скалы взлетел.
Вот-вот он рухнет вниз и разобьется.

Но век прошел – стоит он, как стоял.
Так водопад из недр могучих скал
Исторгнется и, скованный морозом,
Висит над бездной, обратившись в лед, –
Но если солнце вольности блеснет
И с запада весна придет в России –
Что станет с водопадом тирании?

(Пер. В. Левика. Цит. по: Пушкин А.С. Медный всадник. Л., 1978. С. 144).

Как известно, Пушкин в “Медном Всаднике” полемизирует с Мицкевичем, с его однозначно-негативной оценкой Петра Великого (см. об этом: Эйдельман Н.Я. Статьи о Пушкине. М., 2000. С. 273–276). Бродский как бы возражает создателю “Медного Всадника” от лица польского стихотворца. Мицкевич описывал статую Петра Великого, готовую пасть, но еще стоящую. Бродский же изображает уже совершившееся падение – низвергнувшую статую основателя Петербурга. У Бродского, скрепившего интертекстуальной связью сочинения Пушкина и Мицкевича, был претекст – “Возмездие” Александра Блока, в котором “описание Варшавы <...> строится как реплика к давнему поэтическому спору Пушкина и Мицкевича” (Осипов А.Л., Тименчик Р.Д. “Печальную повесть сохранить...”: Об авторе и читателях “Медного всадника”. М., 1985. С. 176).

Картина, нарисованная Бродским, отличается одной деталью от аллегорического описания весны свободы, на приход которой уповал Мицкевич. Вместо весны – зима, о чем свидетельствует липнувший к подковам коня снег. Эпитет коня – “белеющий” – на первый взгляд, имеет предметное значение “занесенный”, “покрытый снегом”.

Возможна и еще одна, интертекстуальная, мотивация эпитета “белеющий” в поэме Бродского: это описание Медного Всадника в “Последней петербургской сказке” Владимира Маяковского, в которой о коне сказано: “Выбелена грива от уличного газа” (Маяковский В.В. Соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1987. С. 87); и параллель более отдаленная – описания белогривого коня Пана-Мороза в черновиках блоковского “Возмездия”, спроецированное на образ Медного Всадника из поэмы Пушкина (об этой соотнесенности – в указ. книге “Печальную повесть сохранить...” С. 179).

Положение коня в пространстве парадоксально: с одной стороны, он, кажется, скачет, сбросив царственного седока (упоминается о “беге” коня); с другой стороны, такая деталь, как налипающий на подковы снег, свидетельствует скорее о неподвижности скакуна. Более того, конь, возможно, представлен упавшим: липнувший к подковам снег – это, скорее всего, снег, опускающийся на землю с неба. Значит, скакун лежит на земле, видимо, опрокинувшись на бок, и снег налипает на его подковы.

К описанию коня в поэме Бродского, помимо пушкинской “петербургской повести”, есть еще один ключ. Это Откровение Иоанна Богослова, в котором сказано о всаднике и “коне бледном”: “И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть; и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертою частью земли – умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными” (Откр. 6: 8). “Белеющий” конь в поэме Бродского – трансформация “кони бледного” из Откровения Иоанна Богослова. Автор “Петербургского романа” пишет о распаде культурных ценностей как о конце света, о

подобии Страшного Суда. Происходит разрушение сюжета пушкинской поэмы: гонимый Евгений теряет своего антагониста, павшего в пропасть, но потому и сам лишается смысла существования. Некий апокалипсис совершается, но гибель настигает в том числе и самые символы конца света, явленные в Откровении Иоанна Богослова: всадник по имени Смерть сброшен конем, конь, кажется, падает тоже.

Интерпретация статуи Фальконе как апокалиптического символа – двойника Всадника на бледном коне – была впервые дана, конечно, не Бродским. Это истолкование было распространено в литературе Серебряного века. Наиболее известный пример – роман Андрея Белого “Петербург”; но достаточно большое число примеров содержится и в поэзии этой эпохи (см. примеры в книге “Печальную повесть сохранить...” С. 115–180).

Об апокалиптической семантике Медного Всадника в литературе Серебряного века Л.К. Долгополов писал: “Это был не просто всадник, это был символ <...>. Произошла любопытная метаморфоза: тот, стоящий на скале, приобрел апокалипсические черты, а другой, сошедший со страниц Апокалипсиса, стал походить на фальконетовское изображение” (Долгополов Л.К. На рубеже веков: О русской литературе конца XIX – начала XX века. Л., 1985. С. 168–169). Этот же исследователь считает, что “между призраком Христа и Медным всадником происходит как бы борьба за души людей, населяющих город...” (Долгополов Л.К. Петербург “Петербурга” (О традициях изображения “городского пейзажа” в связи с романом А. Белого) // Там же. С. 259).

Н.А. Фатеева полагает, что уже в самой пушкинской поэме присутствовали ассоциации между Медным Всадником и Всадником из Откровения Иоанна Богослова (Фатеева Н.А. Контрапункт интертекстуальности, или интертекст в мире текстов. М., 2000. С. 204–207). Однако эта интерпретация небесспорна.

Образы поэмы Бродского красноречиво свидетельствуют об особой значимости библейских параллелей в его поэзии начала 1960-х годов.

“Особый язык” прозы В. Пелевина

© Т. Н. МАРКОВА,

доктор филологических наук

О языке прозы В. Пелевина в современной науке идет постоянный напряженный спор. Одни исследователи (А. Немзер) видят в нем прежде всего конъюнктурность, другие (А. Архангельский и А. Генис) рассматривают работу со штампами, обращение к которым неизбежно для современного художника. Кому-то (Вл. Новикову) язык писателя кажется стертым и безликим, а кому-то (А. Антонову, И. Роднянской) его повседневное кичевое слово представляется специфически авторским и самобытным приемом.

Язык Пелевина получает в критике самые противоречивые определения: буриметический, эклектический, русско-английский, современный новояз, въедливое аргю, лоскутное одеяло, винегрет, волапук и т.п. Вл. Новиков оценивает успех писателя как поражение русского языка (Новиков Вл. Ноблесс облич: О нашем речевом поведении // Новый мир. 1998. № 1. С. 139–153). А. Архангельский, напротив, убежден, что половина его вариаций на рекламные темы войдет в половицы. А. Генис настаивает на том, что современная антиутопия требует чисто функционального языка, для которого индивидуальная интонация избыточна. С ним солидарен Вяч. Курицын, утверждающий, что для современной культуры в целом характерен “антилогоцентризм”.

Однозначно категоричный приговор выносит пелевинскому “говорению” А. Немзер: «Пелевин писал на волапюке всегда. Разбавлять эту литературщину дежурными “как бы”, “типа”, “по жизни” и кондовой матерщиной не значит работать с языковым мусором и кичем» (Немзер А. Время МН. 1999. 26 марта). Ему возражает И. Роднянская: это “не серый перевод с английского, а живое, въедливое аргю”. Да, продолжает она, “язык Пелевина далек от русского литературного настолько же, насколько далек от него современный разговорный язык... это язык яппи (что означает YUP – Yung Urban Professional, молодого городского профессионала, пользователя компьютера и Сети)” (Роднянская И. Этот мир придуман не нами // Новый мир. 1999. № 9. С. 208).

Развернутый анализ лингвистических экспериментов Пелевина предпринимает на страницах журнала “Трени” А. Антонов, предложивший свой термин, фиксирующий новое речевое явление: по аналогии

с “новоязом” Оруэлла – “внуяз” (“внутренний язык”). Действительно, продвигаясь по пути Оруэлла в весьма неожиданном направлении, писатель, по словам Антонова, создает свой “одноязычный” язык, который складывается в пределах индивидуального текстового пространства. У Оруэлла “новояз” – объект описания, статичная модель, вынесенная за рамки сюжета в приложение. Это искусственный проект, в известной степени “мертвый язык”, теоретическая база которого сформулирована одним из персонажей знаменитого романа, филологом Саймом: «Это прекрасно – уничтожить слова. Главный мусор скопился, конечно, в глаголах и прилагательных, но и среди существительных – сотни и сотни лишних. Не только синонимов; есть ведь и антонимы. Ну скажите, для чего нужно слово, которое есть полная противоположность другого? Слово само содержит свою противоположность. Возьмем, например, “голод”. Если есть слово “голод”, зачем вам “сытость”? “Неголод” ничем не хуже, даже лучше, потому что оно – прямая противоположность, а “сытость” – нет...» (Оруэлл Дж. “1984”. Пермь, 1992. С. 219).

Если у Оруэлла, продолжает сопоставление А. Антонов, “новояз” основан на “уничтожении слов”, на усечении смыслов, то Пелевин, наоборот, формирует его с целью “приращения смыслов”. Его речевые конструкции не уничтожают исконного значения слова, напротив – сообщают ему другие, дополнительные, как, например, это происходит в сцене состязания в “краснословии” (“День бульдозериста”). Почти утрачивая свой первоначальный смысл, слово в этом рассказе наращивает блатную экспрессию и брутальную семантику: “отмиришь от меня на три мая через Людвига Фейербаха и Клару Цеткин”. Взятое с плакатов и лозунгов, пафосное слово переключивается в разряд бранных: *май его знает, маюги травить, одномайственно, даже на маяву не пьют, какого же ты мая* и т.п.

Спрессовывая специальную лексику и перемещая ее в “чужую” сферу обитания, художник творит “качественный скачок”, в результате которого слово отрывается от своего прямого значения и как бы “переводится” на другой язык. В парадигме гротеска “навязшая в зубах... лексика лозунгов и плакатов (мир, труд, май, урожай) воспринимается до неприличия ненормативно”, “настоящее блатное аргю” становится советским “партийным стилем” (Антонов А. ВНУЯЗ [“внутренний язык”] в творчестве Пелевина // Грани. 1995. № 175. С. 127). Вот, например, как передан диалог руководителей великих держав в рассказе “Оружие возмездия”: “... Сталин добавил, что, как считает советская сторона, если вместе прихват рисовали, то потом на вздержку брать в натуре запахло, и что когда он пыхтел на туруханской конторе, таких хавырдок брали под красный галстук. И что он сам бы их чикнул, да неохота перо мочить”.

Далее следует перевод на общеупотребительный язык и снова на блатной (как неперемutable условие взаимопонимания): «Поняв из

перевода, что подписание запланированных соглашений оказалось под угрозой, Трумэн провел несколько напряженных часов со своими консультантами, в числе которых были и опытные специалисты по русской уголовной традиции. На следующее утро перед началом переговоров президент отвел Сталина в сторону и дал ему зуб (расщепление фразеологизма “дать зуб” – клятвенно обещать. – Т.М.), что американцы не скрывают абсолютно ничего, касающегося оружия возмездия. То же сделал и английский премьер, после чего переговоры вошли в нормальное русло».

Разрушение советского новояза Пелевин осуществляет, используя испытанные приемы пародии. Вот как, например, озвучивается знаменитый пассаж Маяковского: “Близнецы... Близнецы... Ну, короче, там мы говорим одно, а подразумеваем другое. А потом опять говорим одно, а подразумеваем другое, только как бы наоборот. Получается очень красиво. В конце концов поднимаем глаза на стену, а там...” (“Затворник и Шестипалый”). Писатель производит **деконструкцию советского мифа** на всех уровнях поэтики своих текстов, и, прежде всего – на лексическом. *Совесть эпохи, воля народа, решительный этап, венец нашей жизни, завершение строительства, хотя никто ничего не строил*, – в этих и подобных им догматических словесных образованиях, возникающих в текстах писателя, мы встречаемся не столько со словами, сколько со знаками, указывающими на определенные типы текстов. Необходимое автору опровержение рождается не из “суммы смыслов: отдельных слов, а из “узнавания” того чертежа (А. Антонов), по которому они выстроены. Главную нагрузку развенчания этих шаблонных фраз и звучащего в них механического, мертвого смысла берет на себя пелевинский способ оранжировки фигур риторического синтаксиса, названный критиками И. Зотовым и С. Некрасовым **буриметическим** (Некрасов С.В. “Мечты, мечты, где ваша сладость?” Проблема автора в отсутствие автора // Библиография. 1999. № 3. С. 70).

Например, надпись на стене: “Социализм – это строй цивилизованных кооператоров с чудовищным Распутиным во главе, который копируется и фотографируется не только большими группами коллективных пропагандистов и агитаторов, но и коллективными организаторами, различающимися по их месту в исторически сложившейся системе использования аэропланов против нужд и бедствий низко летящей конницы, которая умирает, загнивает, но так же неисчерпаема, как нам реорганизовать Рабкрин” (“Омон Ра”). Сквозь видимую бессмыслицу в тексте отчетливо проступает стиль средств наглядной агитации, стертый, клишированный язык лозунгов.

Подобные приемы уже встречались в литературе (например, у В. Аксенова и у А. Зиновьева), однако интонационный строй прозы конца XX века проявляется, прежде всего, в отказе от непосредственной (нередко – идеологической) оценочности, а также в подчеркнутом

бесстрастии и отстраненности современного автора. К советскому мифу Пелевин подходит преимущественно с эстетико-лингвистической и психологической точек зрения. Он последовательно развенчивает “красную магию” как систему зомбирования массового и индивидуального сознания посредством слова.

Вот герой повести “Омон Ра” читает газету: “Заголовки статей пугали какой-то ледяной нечеловеческой бодростью и силой – уже давно ведь ничто не стояло у них на пути, а они со страшным размахом все били и били в пустоту, и в этой пустоте спьяну (а я заметил, что уже пьян, но не придал этому значения) легко было оказаться и попасть замешкавшейся душой под какую-нибудь главную задачу дней и привет хлеборобам”.

“Шаманская метонимичность” как форма идеологической обработки массового сознания, по мнению Пелевина, в той же степени присуща и идеологам Третьего Рейха. Ведомство Геббельса, читаем в рассказе “Оружие возмездия”, тоже предпочитает использовать метафоры и аллегории, пышные поэтические сравнения (*подобно копыю Вотана, меч Зигфрида, огнеглазые Валькирии Рейха*), скрывающие абсолютную пустоту. По мысли А. Гениса, тоталитарный режим (в любом из его вариантов) создает мистическое “поле чудес” – “зону повышенного мифотворческого напряжения”.

Примером стертой, клишированной, ложной риторики может служить и обращение начальника летного училища имени А. Маресьева (повесть “Омон Ра”) к абитуриентам: “Вспомните знаменитую историю легендарного персонажа, воспетого Борисом Полевым! Того, в чью честь названо наше училище! Он, потеряв в бою обе ноги, не сдался, а, встав на протезы, Икаром взмыл в небо бить фашистского гада! Многие говорили, что это невозможно, но он помнил главное – что он советский человек! Не забывайте этого и вы, никогда и нигде не забывайте! А мы, летно-преподавательский состав, и лично я, летающий замполит училища, обещаем: мы из вас сделаем настоящих людей в самое короткое время!”.

Или еще пример – речь замполита космического городка полковника Урчагина: “Ты пойми, милый, что в этом и суть подвига, что его совершает не готовый к нему человек, потому что подвиг – это такая вещь, к которой подготовиться невозможно. То есть можно, например, наловчиться быстро подбегать к амбразуре, можно привыкнуть ловко прыгать на нее грудью, этому всему мы учим, но вот самому духовному акту подвига научиться нельзя, его можно только совершить. Чем больше тебе перед этим хотелось жить, тем лучше для подвига. Подвиги, даже невидимые, необходимы стране – они питают ту главную силу, которая... Я услышал громкое карканье”. Резкий сбой интонации, явный сдвиг в сторону пародии обнаруживает прямое обнажение авторского приема.

Речевая характеристика персонажей-идеологов у Пелевина представлена двумя полярно противоположными стилистическими пластами. На этапе убеждения, внушения, “зомбификации” преобладает ложно-патетическая, возвышенно-пафосная газетная риторика в сочетании с интимно-проникновенными интонациями, но уже с момента начала полета, когда все маски сбрасываются, звучит откровенно брутальная и ненормативная лексика и фразеология. Идеологическая обработка заканчивается, героям-камикадзе уже некуда деться, поэтому резко меняется и стилистика речи; все покровы падают – и обнажается махровый цинизм, бесовская суть “красной магии”.

Однако деконструкция советского мифа отнюдь не главная задача Пелевина. Свои лингвистические эксперименты он ведет и в собственном художественном направлении. В частности, его речевая форма отражает противоречивый **процесс сближения литературного языка и сленга**, демонстрируя обретения и потери на этом пути. В количественном отношении в эзотерических текстах Пелевина наиболее активны глаголы не с семантикой физического уничтожения (*завалить, мочить, грохнуть*), а обозначающие речевую и умственную деятельность: *рубить, просечь, загнуть, тормозить, грузить, наехать* и др.

Например, глагол *наехать* в литературном языке означает “натолкнуться во время езды”. В новом контексте он имеет значение “обвинять, угрожать, запугивать кого-либо”. Переход глагола движения в семантическую группу речевой деятельности обуславливается общепринятым лексическим значением, содержащим и дополнительный оттенок: *наехать*, то есть причинить кому-либо вред, скорее всего, физический. В сленговом употреблении глагол “наехать” тоже имеет значение нанесения вреда, но скорее морального, так как производящий действие оперирует словами – угрожает, запугивает.

Как известно, сленговая лексика образуется путем приращения новых значений, связанных с усложнением жизни общества в целом, или путем разложения многозначных слов общеупотребительного языка на слова-омонимы. **Омонимия** в данном конкретном случае обуславливается не только расширением общепринятого, закрепленного в словаре значения, но и авторскими, **подчеркнуто эклектическими речевыми совмещениями**. В “эзотерическом пространстве” пелевинских текстов омонимия открывает новые возможности: передает идею текучести, неопределенности понятий, представлений, миров. Приведем несколько текстовых фрагментов с целью выяснения механизма функционирования и трансформации сленговой лексики в произведении Пелевина: “– Я смотрю, ты башковитый, – сказал Азадовский. – А я вот не рублю” («Generation “П”»). В этом фрагменте слово *рубить* реализует значение, синонимичное глаголу “понимать” – по-

стигать, уяснять, улавливать, разбираться в чем-либо. В литературном языке глагол *рубить* относится к семантической группе “активное физическое действие”; его движение к семантике “мысли и речи” можно объяснить усилением значения “разъединение на составляющие компоненты, приводящее к обзору этих компонентов, к более правильному выводу об их связях, отношениях”. С нашей точки зрения, именно это значение позволяет глаголу *рубить* стать сленговой единицей с обозначением мыслительной деятельности, столь важной для характеристики сознания пелевинских персонажей.

Другой пример: “– Андрей, – отвечал Татарский, косясь на его стоптанные тапки в веревочных стремях, – хватит, а? Мне и на работе хватает. Хоть бы ты не грузил” («Generation “П”»).

Жаргонное значение глагола *грузить* (наполнять кого-либо новой, непонятной, запутанной информацией, напрягать умственную деятельность кого-либо, заставлять его делать усилия, чтобы понять сказанное) основано на общепринятом, но семантический акцент смещается с вещественно-предметного плана на вербально-информационный, интеллектуальный. Подобные изменения происходят и с семантикой существительного *базар* (в литературном языке – “беспорядочный говор, крик, шум”). Как компонент сленгового фразеологизма “съехать с базара”, означающего “уйти от разговора, поменять тему”, слово *базар* закрепляет за собой значение “разговора, выяснения отношений”: “Как про подстаканники услышал, сразу с базара съехал” (“Желтая стрела”).

Сленговые компоненты в составе фразеологизмов не редкость в текстах Пелевина: *в натуре, башню сорвать, по барабану, гнать волну, ходить под кем-то, закосить под кого-либо* (то есть притвориться, прикинуться). Введение в текст художественного произведения подобных языковых элементов диктуется, в ряду других причин, и стремлением передать специфический “речевой кругозор” определенного типа персонажей.

Челябинск



Конструктивно-стилевые векторы*

© В. Г. КОСТОМАРОВ,

действительный член Российской академии образования

Торжествующее со Средних веков описание любого феномена глоссарием, словарем, а также перечнем запретов и предпочтений, разных “исключений”, т.е. перечислением конкретных характеризующих его элементов, не является единственно возможным. Более того, оно органически связано с пониманием мира как статичного и по природе простого, в котором наука призвана лишь открыть законы порядка. Все более торжествующий ныне взгляд на мир как на динамичный и непредсказуемо сложный, в котором любой объект или предмет изучения способен приобретать хаотические черты, вынуждает искать новые пути описания и систематизации. Так, точки, прямые линии, плоскости, сферы, треугольники, конусы Эвклидовой геометрии суть лишь идеализации действительности, в которой истинные облака совсем не сферы, горы не конусы, молнии не линии. Зарождающаяся геометрия призвана воспроизвести неровные, шеро-

* Публикуемый материал – фрагмент из новой книги В.Г. Костомарова “Наш язык в действии. Очерки современной стилистики”, которая готовится к выходу в свет издательством “Гардарики”. Заказы принимаются по адресу: 101000 Москва, Лубянский пр., д. 7, стр. 1.

ховатые, меняющиеся контуры, ямы и впадины, изгибы, узлы, переплетения (См.: Л.А. Маркова. От математического естествознания к науке о хаосе // Вопросы философии. 2003. № 7).

Современная наука в целом все чаще предпочитает иные методы систематизации (так грамматисты заменяют понятие однородности/неоднородности “открытыми рядами словоформ”) и *векторное описание*. В физике и математике вектором (латинское *vector* “несущий”) называют меняющиеся с изменением ориентации отрезки определенной длины и направления, изображающие силу, скорость и другие “векторные величины”. Соответственно развиваются понятия “векторного поля” (правила сложения сил и скоростей), “векторного пространства”, “векторного исчисления” и другие. Понятие вектора успешно применяется в медицине при разработке инструментальных методов диагностики, например, для исследования динамики электрического поля сердца. Дизайнеры-экономисты развивают теорию “ре-вектора” – результирующего вектора как основы эстетики нынешнего “века целесообразности”: традиционные представления меняются, натыкаясь на функциональную выгоду, и красивыми признаются долго считавшаяся уродливой Эйфелева башня, топорно-угловатый джип и даже уходящий от нормы язык.

Векторный метод представляется весьма продуктивным также и для изучения стилистики. Континуум стилевых явлений может исчисляться именно *векторными полями* – разными связями внеязыковой и языковой действительности, сама же стилистика текстов может изображаться как многомерное векторное пространство, совокупность всех векторных полей. Таким образом, на месте словарно-грамматических списков, якобы составляющих суть стилевых явлений, возникает *описание законов составления текстов и их типология*. Любопытно, что векторное описание великолепно согласуется с очень продуктивной мыслью В.В. Виноградова о “развертывании словесных рядов” как процессе создания образа в художественном тексте. Такой ряд строится из любых единиц языка, если они отвечают логике его построения: замысел служит для автора вектором отбора и композиции выразительных средств. Разумеется, для читателя полученные ряды – единственный путь постижения замысла, однако сами по себе они не сущность, но лишь путь передачи замысла, его следствие.

Если взглянуть на специализированные тексты глазами не тех, кто анализирует типовые наборы и композиции языковых единиц, а тех, кто, составляя тексты, именно так, а не иначе отбирает и организует языковые единицы, нетрудно догадаться, что они осознанно или бессознательно подчиняются передаваемой информации. Именно доминирующая установка на информацию (не всегда доступную, хотя часто и вызывающую интерес) и заставляет воспринимать эти тексты как специализированные, а не потому, что в них малопонятные терми-

ны, усложненный синтаксис и композиция, перемежающая текст схемами и графиками. Эти эффекты связаны не с конкретными единицами языка, а с принятой для данной сферы стилевой конструкцией. “Не так” составленный текст не будет адекватно воспринят подготовленными реципиентами, просто не будет узан неподготовленными. Чисто лингвистическое мышление мешает понять ход создания текста, видит в нем лишь готовый продукт, только данность, “вещь в себе”.

Наиболее яркой приметой специализированного текста признается наличие в нем терминов. Однако и они не свыше спущенная данность для его опознания: они явились не сами по себе, а как результат ввелингвистически обусловленного стремления авторов уйти от общего, многозначного языка. В термине можно видеть крайнюю степень отстранения от общего словоупотребления, если угодно, суживающую “деформацию” слова. Кстати, глагол *дефинировать* значит собственно “ограничивать” и даже “заканчивать”. Если значение слова можно определить как некоторое обобщение его исторически установившихся и принятых всем обществом употреблений, то значение термина формируется дефиницией, которая достаточно произвольна, нередко индивидуальна, но непременно однозначна. Поэтому извечны споры вокруг “правильного” понимания того или иного термина, а также и задача упорядочения терминологий разных отраслей, в то время как вряд ли кому придет в голову приводить в порядок словарный состав общего языка, бороться с многозначностью слов, навязывать им то или иное значение, устранять кажущиеся неудачными.

Термин, если его и не выделить из общего лексикона, есть, как считал Г.О. Винокур, слово, но в особой функции. В общедоступном языке *договор*, *соглашение*, *контракт* или *продажа*, *реализация*, *сбыт*, *дилер* и *посредник*, *прибыль* и *доход* – синонимы, в специальном же тексте – обозначения весьма различных понятий, действий, документов. Напротив, одно и то же слово может быть разными терминами: скажем, *операция* – в экономике и в медицине. Для терминов как условных по договору обозначений важна не частотность и не общеизвестность, но наличность. К терминам надо отнести и словосочетания, нередко исходно метафорические, но закрепляемые в качестве специализированных обозначений: *белый гриб*, *железная дорога*, *мертвый капитал*.

“Во всяком специальном тексте ведущим признаком системы выступают не только термины и терминологические сочетания, но и так называемый специальный словарь. Это обычные слова и словосочетания, лишенные какой-либо эмоциональной окраски, на которые контекст влияет лишь в одном направлении, а именно в направлении реализации только одного значения, слова, если оно многозначно, и притом основного, предметно-логического значения слова. Специальный и терминологический словарь стиля научной прозы всегда представ-

ляет собой величину известную. Предсказуемость велика” (И.Р. Гальперин. К проблеме дифференциации стилей речи // Проблемы современной филологии. М., 1965. С. 69).

Однако при всем своем богатстве, разнообразии и потенциях развития фонетико-грамматические и лексико-фразеологические ресурсы языка все же слишком ограничены, чтобы предоставить особые, специфичные средства для подвижных и крайне многообразных текстов, отражающих разнородные внеязыковые потребности, факторы и мотивы, чтобы обеспечить всю сложнейшую коммуникативную жизнь современного общества. В специализированных текстах, дифференцированных и жестко детерминированных содержанием, эта трудность, конечно, минимизируется, но отнюдь не исчезает. Оставляя в стороне порождаемую терминологическим обособлением опасность разделения языка до взаимного непонимания его носителей, увидим в этом чистое поле, освобожденное от дополнительных напластований; это облегчит задачу поиска не строго лингвистического основания классификации любых текстов вообще, прежде всего их глобальных группировок.

За такое основание можно принять отвлеченные стилевые установки, задающие не специфичные наборы средств выражения и приемы их конструирования, но определенные направления их выбора из общего источника, становящегося на глазах все более однородным и функциональным плане. Именно их и показалось возможным и удобным именовать *конструктивно-стилевыми векторами (КСВ)*. Применительно к специализированным текстам их можно описать проще и четче, нежели ко всем иным (именно поэтому их удастся наименее противоречиво обобщать в традиционно перечисляемых “прагматических функциональных стилях”), как *отстранение от общего языка*, стремление свести его к “своему языку”.

Вообще-то, конечно, термины сплетены в “корзины” маркированных единиц, однако привязаны они к разным содержательным сферам, а не к группировке специализированных текстов как таковой. К ее характеристике как стилевого единства можно отнести не термины как таковые, но лишь сам факт наличия терминов – как ярчайший показатель обособленности от общего языка: “– Ты пробовала проследить гемоглобин? – А то нет! Но связь с преднизолоном здесь не прослеживается”. Эти реплики явно принадлежат научному общению – по смыслу, по обособляющим его терминам и устойчивым сочетаниям; разговорные элементы здесь не меняют дела, если не счесть их ненужно отвлекающими от сути. В то же время реплики околонучного содержания типа: “– Вы когда предполагаете выйти на защиту? – Диссертация у меня готова, автореферат опубликован, но у нас в совете очередь” – нельзя отнести к специальной книжности, они, скорее, разговорные, несмотря на языковые приметы книжности.

Разговорные вкрапления в научных текстах (достаточно частые при устной и диалогической формах их реализации) и книжные вкрапления в разговорных (сегодня это наблюдается все чаще) не должны смущать при стилевой квалификации, если соблюдается ориентация КСВ, переводящего данную внеязыковую действительность в действительность языковую. В наших примерах это узкоспециальное содержание, отраженное терминологическим отграничением от общего языка, и обеспечение личностного контакта, связанного с откровенным, хотя и сухим изложением обстоятельств. В первом случае смысл текста сокровенен и доступен лишь для посвященных, во втором он очевиден для всех, даже не очень знакомых с процедурой получения ученой степени.

Наличие КСВекторов, открывающих тайну воплощения внеязыковой действительности в действительность языковую, проясняет или снимает парадокс безразличия средств языка как таковых к сообщаемым фактам. Нейтральность языка как орудия передачи информации обеспечивает возможность перевода текста с языка на язык, но стилевая адекватность требует серьезных видоизменений перевода. Нечто схожее наблюдается и в пределах одного языка под давлением векторов, отражающих разные коммуникативные задачи, принятых в данном обществе в данную эпоху и обуславливающих группировки текстов, прежде всего по тематико-содержательным сферам. Они задают развертывание словесных рядов, их содержательную (а в беллетристических текстах образную) сущность в конкретный рисунок сплетения ткани – текста из слов и посредством слов, лексическим и грамматическим взаимодействием.

В этом процессе сегодня может быть, строго говоря, “задействован” любой ресурс языка, если он содействует движению по заданному направлению, но, конечно, вид транспорта, состояние дороги определяют скорость, эффективность. Впрочем, если прибегнуть к ненаучному методу доказательства: пусть дом будет построен из бревен, кирпича, бетона и стекла, даже из льда, было бы удобно в нем жить. Важно лишь подчеркнуть, что любая языковая единица при верной реализации данного КСВектора облекается в определенную содержательность, индивидуализированно принадлежащую уже только данному тексту, данному воплощению данного вектора.

Именно эта индивидуализация, особенно яркая в вечном противопоставлении прямых, словарных и изобразительно-художественных, поэтических значений, мешает многим исследователям поставить беллетристические тексты в один ряд со всеми другими. Л.Н. Толстой писал, что “самое важное в произведении искусства – чтобы оно имело нечто вроде фокуса, т.е. чего-то такого, к чему сходятся все лучи или от чего исходят. И этот фокус должен быть недоступен полному объяснению словами ...”. Это справедливое писательское видение не

ведет непременно к признанию обособленности “языка художественной литературы”, т.е. написанных на том же русском языке беллетристических текстов, от всех других, но лишь свидетельствует о специфике лежащего в их основе конструктивно-стилевого вектора, диктующего неповторимые в других текстах языковые реализации. Так, только “поэзия, налагая сходство на смежность, возводит эквивалентность в принцип построения сочетаний. Симметрическая повторность и контраст грамматических значений становятся здесь художественным приемом” (Р. Якобсон. Поэзия грамматики и грамматика поэзии. 1980).

Инициатор дискуссии 1954–1955 гг. по вопросам стилистики в журнале “Вопросы языкознания” Ю.С. Сорокин привел отрывок из сочинения И.М. Сеченова “Рефлексы головного мозга”, в котором слышатся разговорные интонации, доказывая, что не существует особого научного стиля языка. Только в конце отрывка “являются отдельные признаки того, что обычно характеризуется как особый научный стиль языка: применение специальных терминов и слов книжного характера, характерные логизированные построения обобщающих предложений” (ВЯ. 1954. № 2. С. 75). Несомненно в то же время, что весь отрывок – это научный текст. Недоумение непреодолимо, если признаком стилиевой принадлежности текста считать наличие или отсутствие некоторых определенных языковых единиц, но оно снимается, если таким признаком считать его, так сказать, дух – общую направленность, диктуемую КСВ.

Целостность, создающая стиль, связывается, как справедливо возразил ему в той же дискуссии Р.А. Будагов, с тем, что любой элемент “направлен к единой цели, все они подчинены, как низшее высшему, стилю научного изложения, который, по замыслу автора, должен отразить ошибочные умозаключения и убедить читателя в справедливости авторского заключения” (ВЯ. 1954. № 3. С. 61). Отсюда и строгая логичная последовательность изложения, наличие терминов, стройность вывода, т.е. подчинение плана выражения плану содержания, теме, смыслу. Все это связано с собственно наукой и диктует специальную терминологию, преобладание развернутых сочинительных и подчинительных союзов, своеобразие вводных слов, строгих перечислений (*во-первых...*, *во-вторых...*), но наука решает еще и задачу наилучшего донесения информации, дискуссионность, критику несогласных взглядов, отчего ее конструктивный стилиевой принцип отнюдь не возбраняет и употребление потребных для этого выразительных средств. Текст от этого не перестает быть научным, пока соблюдены основные его установки; сами же вносимые в него нехарактерного типа единицы приобретают специфическую “научно-ориентированную” окраску и функцию. По меткому и смелому для языкознания того времени замечанию Р.А. Будагова, “неповторимых стилистических

средств языка почти нет. Но выразительные средства выполняют разные стилевые функции". Точность в науке – совсем не то, что точность в беллетристике, а образность в научном тексте преследует иную цель, нежели в художественной прозе.

Стилевые явления противятся формализации, несовместимы со строгим математическим измерением, перечислением. Они связаны с интуицией, житейской мудростью и жизненным опытом, здравым смыслом и вкусом, с творчеством, непрерывным общественно-историческим и индивидуальным нравственно-интеллектуальным усилием. Примером "деформации" научного текста, введением в него беллетристического личностно-образного элемента может служить научно-популярная и фантастическая литература (это четко отражает английский термин *science fiction*, буквально "наука-беллетристика").

Идя в заданном направлении, автор текста вполне свободен привлекать любые выразительные средства, пока они не сбивают его с избранного пути. Конечно, и зная направление, большинство авторов идет не по целине, а по протоптанной тропе, особенно при интенсивном и скоротечном составлении текстов, каковое неизбежно, например, в газетной периодике. Идея описать частотные словари (о таких грамматиках вопрос всерьез ставился лишь в порядке подсчета употреблений отдельных форм) возникла не только применительно к специализированным текстам, содержательно узким и терминологически устойчивым сферам науки, но и – парадокс – к таким, как подчеркнута индивидуальная, бегущая типовых "поэтизмов" поэзия или подвижная и неостановимо обновляющаяся массовая коммуникация. В чисто синхронном плане подобные "моментальные фотографии" вечно идущего процесса имеют смысл в учебном плане – как пособие для преодоления избитых штампов репортерами или начинающими стихотворцами, а также для обучения иностранцев чтению текущей прессы.

Вряд ли есть текст без творческой изобретательности автора, обеспечивающей не только индивидуальную оригинальность, но и – в историческом плане – стилевую динамику коммуникации вообще. Можно хорошо знать принципы стихосложения и научиться версифицировать, однако это совсем не значит – писать настоящие стихи. Но еще хуже недооценивать закономерности, отражаемые в *конструктивно-стилевых векторах (КСВ)*, связь данной сферы общения с характером использования в ней языка.

Для сущностного же понимания текстов и их группировок необходим, несомненно, совмещенный анализ внеязыковой доминанты и языковой логики их конструирования. Наблюдаемые конкретные наборы и композиции средств суть лишь возможные синхронные, даже сиюминутно модные воплощения, которые нельзя интерпретировать как дискретные лингвистические комплексы. Слепо придерживаться таких наборов, даже обобщая и типизируя примененные средства вы-

ражения, значит, оставаться беспомощным в понимании функционирования языка. Творчески вникнуть в логику и смысл порождающих их КСВ, познать и освоить суть разных векторов, соответствующих разным сферам общения, значит овладеть векторным пространством стилистики текстов.

Отказ от убеждения, что стилевые явления характеризуются маркированными, “привязанными” к ним языковыми средствами, ставит сложный и трудный вопрос о способах описания разных текстов, по крайней мере, наиболее крупных и влиятельных их группировок.

Именно *конструктивно-стилевые векторы*, ориентирующие на определенный идеал при материальном порождении текстов, позволяют расчленивать бесконечный их континуум, выделять и описывать их группировки. Абсолютно недостижимые в процессе любых конкретных материализаций, но реализующься последовательно, пусть с разной степенью успешности в конкретных текстах, они могут быть признаны реальностью подобно любому обобщенно-отвлеченному представлению о поведении в культурном обществе. Вырабатываемые жизнью в обществе через подчинение принятым в нем правилам, подражание авторитетам, сознательное внушение в детстве, такие представления не даны в непосредственном восприятии органами чувств, но это не значит, что их нет, что они не существуют.

Если в привычно принятом значении функциональные стили – иллюзия, то реальность – именно КСВекторы как некое представление, абстрактный принцип, овеещаваемый в употреблении средств языка. Как всякое сложное отвлеченное понятие, в значительной мере субъективное, базирующееся на наблюдении за связями *текстов* как языкового продукта со *сферами общения* как внеязыковой действительности, КСВ трудно именовать и снабжать краткими дефинициями.

Даже специальные тексты, жестко зависимые от конкретного содержания, отчего и показалось проще на их примере ввести понятие конструктивно-стилевых векторов, весьма разнородны, но все же позволяют представить все тексты в одномерном поле. Хотя среди них можно выделить столько групп, сколько есть различных тематик, скажем, научно-гуманитарную и естественно-научную, медицинскую, юридическую, философскую, филологическую и т.д., во всех них при этом основой представления КСВ останутся *сферы общения*. В.А. Аврорин разумно заметил: “Сфер общественной деятельности – бесконечное множество. Но лингвисту нет надобности все их подвергать особому рассмотрению. Целесообразно ограничиться лишь теми, которые выделяются особыми типами языкового взаимодействия” (Проблемы изучения функциональной стороны языка. Л., 1975. С. 75).

Физическая неощутимость *КСВекторов* не доказывает их надуманности, иллюзорности. Как и всякая идеальная ценностная ориентация, они соизмеряют логические формы познания с конкретными

их продуктами, в данном случае с результатами стилевых процессов и традиций – с типами текстов. Им можно сознательно обучать, но чаще к ним приходят, стихийно преодолевая неудачи, связанные с их несоблюдением, наблюдая авторитетные образцы и подражая им.

Речь идет о функционировании общего и единого языка, и если не забывать о том, что оно объективно, наблюдаемо, ощутимо представлено в текстах, очевидно соотносимых с разными сферами деятельности и познания, то просто нельзя не обратиться к абстрактному отражению двойственности, двуприродности самого общения как явления. Напомним к тому же, что для простоты оно пока рассматривается лишь с позиции *сферы*, наряду с которой существует еще и *среда*, значительно усложняющая эту двуприродность связи реальности жизни и реальности языка. Как было блестяще показано И. Кантом, интерпретировать переход от сенсibiliй к понятиям, от чувственных представлений к логическому мышлению, т.е. объединение явлений разной природы в органическое единство, возможно лишь путем введения третьего элемента, обращенного одинаково в обе стороны. Этот связующий элемент есть абстрактный конструктор, лишь задающий установку, определяющий ориентацию.

Таковы и *КСВ*, задающие направление, принцип выбора и организации средств выражения.

Всем знакомы трудности, испытываемые при создании текстов определенных сфер общения в связи с необходимостью учета их стилевых разграничений, наличие которых становится очевидным при их нарушении. Этого бы не было, если бы, в самом деле, имелись заданные наборы единиц и моделей, как, например, в предлагаемых почтой бланках поздравительных телеграмм. Тогда бы не было и замечаний вроде “разве так со старшими разговаривают!” или признаний “совершенно не умею выступать на собраниях”. Некомпетентно написанные заявления, иски, докладные, отчеты вызывают смех, даже отторжение и не приводят к успеху, редакторы не примут материал, потому что “научную статью так не пишут”, откажутся печатать толковую по содержанию заметку, потому что “она написана не по-газетному”, заставят переписать неплохой рассказ, если его автор профессионально несостоятелен как беллетрист. И, напротив, излюбленный прием фельетонов или пародий – использование “чужой” стиливой конструкции, не мотивированной данным содержанием.

Собственно материализация, по которой судят о воплощенности нужной стиливой конструкции, есть следствие. Но лингвистам естественно исходить из ощутимой языковой материи, отчего нетрудно предвидеть возражение против введения абстрактной категории. Но ведь о каких бы крупных группировках конкретных проявлений мы ни говорили, в виду всегда имеется обобщенный идеал, некий типизированный недостижимый образец. В литературоведении, например,

судят о “стиле романтизма”, “стиле реализма”, даже о “стиле отдельного писателя-реалиста”, потому что понятия реализма или романтизма являются абстракцией. Она основана на конкретных воплощениях, но не сводима ни к одному из них. В сущности, даже строгие лингвистические категории вроде склонения выступают в виде абстракций, не опровергаемых исключениями (скажем, несклоняемые существительные и прилагательные не мешают определению парадигм склонения). Так же и категория *конструктивно-стилевого вектора* является абстракцией, но не фикцией, поскольку базируется на многих примерах, схожих по идее, ориентации, установке, но не по “языковой оболочке”. Конструктивная абстракция как некий идеал задает направленность выбора и композиции любых выразительных средств, пригодных для каждого данного своего воплощения, но это отнюдь не перечень “соответственно маркированных” языковых единиц или строгих, однозначных правил их композиции. Найти их согласно принципу конструкции — задача каждого отдельного автора каждого конкретного текста.

Легко предвидеть возражения: предлагается, де, интерпретационный подход, который не дает категориального осмысления. Но дело в том, что *стилевые* явления, связанные прежде всего с составлением и восприятием текстов, по природе своей весьма субъективны и исторически, особенно при общественных потрясениях, *меняются несравненно быстрее, нежели языковые категории*. Иные по природе, они и интерпретируются убедительнее нетрадиционными, как раз интерпретационными (например, векторным!) способами.

Индивидуальные и даже обобщенно-понятийные структурные, но контекстные явления научно выверить, доказать нельзя, но метафизически они несомненно существуют. Перефразируя сказанные по несколько другому поводу слова В. Гумбольдта, эти явления “настраивают” общающихся на адекватное взаимопонимание, затрагивая в них “одно и то же звено цепи чувственных представлений, прикасаясь к одним и тем же клавишам инструмента их духа”.

Редколлегия и редакция журнала “Русская речь” поздравляют Виталия Григорьевича Костомарова с 75-летием, желают ему здоровья, новых идей в научной работе и успешного осуществления всех жизненных и творческих планов.

“Американобесие” уходит?

© А. Э. Григорян

В последнее время существенное внимание в исследовании современного состояния русского языка уделяется американскому и английскому лингвокультурному влиянию, взаимодействию семантики русских слов и новейших американизмов и англицизмов. Причиной тому являются существенные изменения, происходящие в русском языке в последние десятилетия. По мнению некоторых лингвистов, их динамика настолько велика, что для ее характеристики они используют оригинальные термины. Е.А. Земская предлагает термин – *новояз* (Русский язык конца XX столетия (1985–1995), коллективная монография под ред. Е.А. Земской), кальку с термина *nowotowa* польского лингвиста М. Гловиньского, впервые использованного в статье “Nowotowa” (1978). Гловиньский не был автором этого слова в полном смысле, так как *nowotowa* – тоже калька, но со словосочетания *new speak*, использованного Дж. Оруэллом в известной антиутопии “1984 год”.

Спектр новейших активных процессов в строе современного русского языка необычайно широк и во многом отражает, на наш взгляд, поистине масштабную культурную агрессию (если не экспансию) США во многих областях жизни общества. Все это находит обязательное отражение в языке: англицизмы и американизмы активно осваиваются современными носителями языка, приобретают собственную парадигму, что уже говорит о существенной степени освоенности, у них появляются словообразовательные гнезда (*имидж* – *имиджевая политика*, *креатив* – *креативный*, *креативщик*, *креативность*, *более креативно*, *менее креативно* и т.п.), собственная сочетаемость.

В настоящий момент как влияние английского языка и особенно его американского варианта на русский язык рассматривают заимствование и калькирование (Л.П. Крысин. О заимствовании и калькировании в русском языке // Вопросы языкознания. 2002. № 6). Однако такое видение проблемы кажется нам несколько упрощенным, так как не учитывается еще один аспект, связанный со взаимодействием семантики русских слов и новейших заимствований и калек. Проблема может быть сформулирована как переосмысление семантики исконно русских слов или сравнительно ранних заимствований под влиянием

ем новейших американизмов и англицизмов: появление новых значений или их оттенков, отодвижение одних значений на периферию и привнесение других в центр под влиянием заимствованных слов и калек.

Процесс кажется нам интересным для исследования по той причине, что наглядно отражает связь языка с общественной жизнью и, шире, с культурой времени. Результатом исследования может стать выявление определенных закономерностей, по которым происходит процесс. Наконец, можно определить, слова каких сфер употребления или семантических полей наиболее подвержены влиянию семантики заимствованных слов.

Тенденция к употреблению слов, пришедших из английского языка и его американского варианта, вместо русских со схожей, а порой и идентичной семантикой, начала проявляться с 50-х годов XX века и была названа В.В. Виноградовым “американобесием”. Особенно она усилилась в 1980-х – 1990-х годах, и причиной тому были, на наш взгляд, перемены в общественной культуре, повсеместная, зачастую слепая ориентация на Запад во всех сферах жизни общества. Все это оставило серьезный след в языке. На современном этапе развития языка “американобесие” вызвано, на наш взгляд, не столько политическим аспектом глобализации (хотя этот фактор немаловажен), сколько в первую очередь американским культурным засильем.

Однако в современном языке есть явления, которые позволяют говорить о том, что “американобесие” начинает ослабевать: в ряде случаев носители языка предпочитают русские слова вместо тех иностранных, которые употребляли ранее. Это тенденция новейшего периода развития языка (поздние девяностые годы и начало XXI века). Думается, что причина этого кроется не только в некотором подъеме патриотизма в современном обществе, внимании к почвенной культуре и истории русского народа (исторические клубы, реставрационные мастерские, историческое фехтование и др.), хотя значимость этого фактора, на наш взгляд, очевидна. Важную роль здесь сыграл сам механизм процесса заимствования. Казалось бы, ситуация парадоксальна: “американобесие” явилось причиной *вытеснения* заимствованных из английского языка слов и появления вместо них *русских* эквивалентов. Но так ли это парадоксально?

Основная цель статьи – попытка доказать, что лексические значения заимствований довольно часто воздействуют на значения их русских эквивалентов или “переводов”. В течение этого процесса одни значения, часто новоприобретенные или периферийные, становятся центральными, другие отодвигаются на периферию. Важной задачей мы считаем и вскрытие механизма рассмотренного процесса, его причины и особенности. Материал исследования – новейший русский язык, то есть язык последнего десятилетия XX – начала XXI века, за-

крепленный в современной публицистике, отраженный частично в дикторской речи и всех видах рекламы.

В числе главных особенностей обогащения семантики то, что приобретение новых значений, как и заимствование, происходит в тех сферах жизни общества, в которых с наибольшей силой ощущается сильное и повсеместное американское и английское культурное давление. В языке реализуются новейшие общественные представления о том, в каких сферах современное общество ориентируется на США и Великобританию как на некоторый культурный эталон. Поэтому большинство исследованных слов относятся к таким семантическим полям, как “музыка”, “предпринимательство”, “спорт”, “туризм”, “техника”, “наука”, “архитектура” или “дизайн”.

В протекающем процессе мы выделяем четыре различных аспекта, которые предполагают две бинарных оппозиции:

I. Первая оппозиция:

- 1) Переосмысление и дополнение семантики ранних заимствований, как англицизмов, так и галлицизмов, например появление нового значения у глагола *презентовать* – представлять, а не дарить, как это было раньше (от англ. to present).
- 2) Переосмысление семантики исконно русских слов (здесь, по нашему мнению, влияние американизмов и англицизмов наиболее сильно), проявляющееся в таких случаях, как появление нового значения у слова *зайти* – воспользоваться сайтом или другим сетевым ресурсом (от англ. to enter).

II. Вторая оппозиция:

- 1) Употребление слов с “обогащенной” заимствованиями или иностранными эквивалентами для обозначения новых общественных, культурных и технологических реалий, как, например, в случае слова *сеть, паутина* – Интернет (под влиянием Web. Net).
- 2) Обозначение этими словами уже известных понятий: в этом отношении показательно слово *продвинутый* в новом значении “прогрессивный”, увлекающийся новыми веяниями, что мотивировано английским *advanced*. В этом случае своего рода посредником стала молодежная речь, которая особенно интенсивно использует англицизмы.

Исходя из этого, весь материал был разделен на две группы, в соответствии с каждой из оппозиций. Рассмотрим самые интересные примеры более детально.

Огромное количество слов с новыми значениями и оттенками значений наблюдается в поле “музыка”. Одним из них является слово *трек* (I, 2), заимствованное из английского как спортивный или научный термин в 50-е годы XX века. Значение, которое указано в “Большом толковом словаре русского языка” (СПб., 2003; далее – БТС) –

[англ. track] 1. Овальная дорожка с виражами для вело- и мотоциклов; спортивное сооружение, имеющее такую дорожку. *Мотоциклетный трек. Тренироваться на треке.* 2. Спец. След, оставляемый на экранах приборов, фотобумаге и т.п. частицами атомов, электрическими зарядами и т.п. Однако в современном языке это слово, на наш взгляд, обогатилось новым значением “песня, музыкальная композиция, записанная на любой носитель информации”: “Сборник лучших композиций группы включает в себя два новых трека” (Ваш Досуг. 2003. 1–7 дек.), и произошло это, на наш взгляд, под влиянием одного из значений слова в английском языке. Случай интересен не только тем, что дополнилось значение более раннего заимствования. Культурный фактор и восприятие США как центра музыкальной моды здесь находятся на первом месте, и это обусловило то, что два первых значения отодвинулись на периферию и сейчас встречаются крайне редко, тогда как новое, привнесенное недавно, но “модное” и будто бы свидетельствующее о “компетентности” и “профессионализме” носителя (первоначально слово было термином и употреблялось почти исключительно в профессиональной среде) распространено почти повсеместно. Интересно здесь и то, что музыкальный термин практически перестал быть таковым, начал переходить в разряд общеупотребительных слов, сравнившись по количеству употреблений со словом *песня*: *новый трек, наслаждаемся классическим треком группы, трек почти записан, существуют три версии трека* (из информационных программ радио “Ультра” и “Наше радио” и речи радиоведущих).

В рассмотренном случае мы рождения появления нового значения у заимствованного слова, однако это явление характерно и для исконно русских слов, но также под влиянием американизмов и англицизмов. В этом отношении интересно появление нового значения у слова *продвинутый* (II, 2), которое не отмечено в БТС. Слово и до перестройки и в период связанной с ней демократизации языка употреблялось крайне редко и имело довольно узкое значение – в Словаре под редакцией С.И. Ожегова дано следующее: “Находящийся впереди, более совершенный по сравнению с другими. *Продвинутый ученик, продвинутый этап обучения*”. По нашему мнению, в двух представленных предложениях *продвинутый* приближается к педагогическому термину и его сочетаемость в течение некоторого времени была связана с семантическим полем “Обучение”. Но в конце 80-х – начале 90-х годов значение и употребление слова значительно расширились и главной причиной, по нашему мнению, стала культурная ориентация на Запад в первую очередь в молодежной среде. Появление нового значения обусловлено английским *advanced* и его значением, которое в New Webster’s Dictionary сформулировано одним словом – “progressive” (в отличие от первого значения “progressing” – быстро прогрессирующий) – то есть прогрессивный, придерживающийся передовых, про-

грессивных взглядов. Это значение мы находим в таких предложениях, как “Правда, многие критики считают, что живи и работай Arrogant Berzerk в более музыкально продвинутой стране, вроде США или Британии, ... группа обрела бы славу уже сейчас” (Ваш досуг. 2003. 7–10 дек.).

Налицо расширение сочетаемости, которое связано с появлением нового значения: передовые взгляды существуют в различных сферах деятельности человека. Механизм появления нового смысла в данном конкретном случае интересен: решающую роль здесь сыграл молодежный жаргон. Впервые слово *продвинутый* в новом значении появилось в этой социальной среде, так как молодое поколение носителей языка, на наш взгляд, более восприимчиво к зарубежной культуре вообще и к культуре США и Англии в частности и здесь является некоторым “связующим звеном”, доводящим до других носителей заимствованные англицизмы и американизмы, а также, как в рассмотренном случае, семантически обогащенные русские эквиваленты; и происходит это в процессе ежедневного общения. Новое значение появляется у слова *present* в английском языке, причем оно не описано в английских толковых словарях – это “предмет или скидка, бесплатно достающиеся клиенту при покупке определенного вида продукции, что является средством привлечения покупателя”. Под его влиянием русское слово *подарок* (П,1) почти мгновенно приобрело это новое значение: «В ноябре–декабре Nokia проводит акцию “Теплоотдача”: каждый купивший телефон Nokia 1100, 2100, 3100 получает один, два или три подарка» (Телефон. 2003. Ноябрь). Здесь интересно то, что переосмыслено само понятие *подарок*: если ранее это был совершенно бескорыстный дар, то теперь подарок – это некоторое вознаграждение за покупку, еще один материальный стимул приобретать продукцию. В отличие от многих случаев, когда новое значение вытесняет старое, здесь этого не происходит и причиной тому, на наш взгляд, терминологическая природа нового значения, узость семантики и вызванная ею низкая частотность употребления.

Слово *уровень* (П, 2) обязано появлением нового значения английскому *level* “плоская или горизонтальная поверхность”. В русском языке *уровень* имеет следующие значения: 1. Условная горизонтальная линия или плоскость, являющаяся границей высоты чего-либо. *Уровень истока реки выше его устья*. 2. Ступень, достигнутая в развитии чего-либо, качественное состояние, ступень этого развития. *Уровень развития техники*. 3. Прибор для проверки горизонтальности плоскостей; ватерпас. Но под влиянием вышеуказанного значения слова *level* русское *уровень* приобрело значение – “плоская горизонтальная поверхность, разделяющая здание, этаж”, в чем вновь заметно влияние культуры США: речь здесь идет о гигантском торговом центре или *мегамолле*, реалии, новой для России и типичной для западного

общества. Поэтому и номинации выбираются в соответствии с американской традицией: о жилом доме человек до сих пор говорит *восьми- или пятиэтажный*, в то время как о торговом или развлекательном комплексе – двух-, или трехуровневый. Между тем никакой принципиальной разницы между этажом жилого дома и таковым в торговом или развлекательном комплексе нет, за исключением размера этажа: обычно уровень значительно больше по объему, чем этаж.

Другим интересным аспектом рассматриваемого процесса мы считаем появление новых значений у более ранних заимствований (ввиду французского культурного влияния, начавшегося в XVIII веке и продолжавшегося по конец XIX века, это в основном галлицизмы), таких, как *меню, салон, презентовать* и другие. Рассмотрим это на примере глагола *презентовать*.

Глагол *презентовать* (I, 2), образовавшийся от французского *present* – “дарить” в конце XVIII – начале XIX века, первоначально означал “преподнести – преподносить, подарить – дарить”, в современном языке он часто употребляется шутливо-иронически, что и отражает помета *шутл.* в БТС. Однако на современном этапе развития языка под влиянием одного из значений английского глагола *to present* – “показывать или выставлять” глагол получил новое значение – “демонстрировать публично, представлять, показывать”, как, например, в таком контексте: «Этот материал и будет презентован на первом сольном выступлении новой “Арии” на стадионной площадке...». Интересно и то, что английским языком это слово также было заимствовано из французского. В появлении нового значения у галлицизма фактор культурной экспансии вновь сыграл решающую роль, случай примечателен тем, что это чистое отражение языковой моды: ничего не мешало автору статьи сказать *представлен* вместо *презентован* (никакой разницы в значении в данном контексте нет), но тем не менее новое значение дублирует значение русского слова. Эта тенденция, на наш взгляд, ни в коем случае не может считаться позитивной. Показательно с точки зрения культурной экспансии и то, что значение “дарить, преподнести”, мотивированное французским словом, в данный момент находится на периферии поля значений. Оно почти вытеснено новым “представлять публично” и помета *шутл.* у первоначального значения доказывает это как нельзя лучше.

Слово *контроль* (I, 2) приобрело новое и притом широкое значение под воздействием одного из значений английского *control* – “управление”, хотя в русском языке до недавнего времени оно означало: 1. Наблюдение с целью проверки или надзора; проверка. 2. Учреждение, проверяющее чью-либо деятельность. В таких предложениях, как “Навигационная клавиша обеспечивает максимально быстрый и эффективный контроль” (Телефон. 2003. Ноябрь) или “... аномальная капиталистическая система без производства товаров с неограни-

ченным неравенством (более 1 : 50) и отсутствием систем контроля” реализуется новое значение – не только проверка, надзор, а “управление как таковое”, то есть *контроль* здесь является синонимом к словам *управление* (в первом случае) и *руководство* – во втором. Рассматриваемый случай наглядно демонстрирует, как вследствие семантического обогащения расширяется сочетаемость слова: до появления нового значения такие выражения, как *система контроля автомобиля* и *обеспечение эффективного контроля мобильного телефона* вряд ли были возможны.

Итак, как мы выяснили, логика “американобесие явилось причиной собственного ослабления”, заявленная в начале работы, отнюдь не порочна, поскольку заимствованные слова настолько широко распространились в русском языке, что вызвали у его носителей желание найти более или менее точные их эквиваленты, причиной чему является также и банальное непонимание многих слов (если учесть, что средний уровень знания английского языка в стране не столь высок, как в крупных городах) или невозможность запоминания многих из них из-за практически одинакового звучания. Вполне возможно и то, что американизмы в конце 90-х годов настолько прочно укрепились в сознании образованной части населения, что стали невольно ассоциироваться с их русскими эквивалентами, что и нашло реализацию в процессе семантического заражения. Можно также предположить, что предпочтение русских слов, пусть даже с обогащенной американизмами семантикой, происходит и по причине падения в последние годы авторитета США, разрушения мифа современного общества о США как центре современной культуры и возрождения интереса к славянской цивилизации и культуре русского народа. Так или иначе проявление этих факторов в русском языке является безусловно положительной тенденцией.



ПРАВИЛА И ИСКЛЮЧЕНИЯ ДЕЛОВОГО ЯЗЫКА

© Н. В. МУРАВЬЕВА,
доктор филологических наук

Деловая жизнь сегодня уже не является уделом узкого круга людей. Мы довольно часто оказываемся в ситуациях делового общения, поэтому нуждаемся в том, чтобы научиться говорить на “их языке” с чиновниками, с коллегами и партнерами по бизнесу, с начальником на работе или сотрудником банка, в котором у нас есть счет. Бывает, мы знаем, *что* хотим сказать, но не знаем – *как*.

Основная цель делового общения – практическая, она состоит в том, чтобы передавать и получать конкретную информацию, связанную с правовыми отношениями. Поэтому к деловой беседе, переговорам или к составлению документов мы готовимся заранее, предварительно обдумываем то, что будем говорить или писать. При этом основная форма деловой речи – письменная (заявление, приказ, отчет, резюме, инструкция и т.д.), ведь именно она позволяет точно выражать информацию, хранить ее и повторно обращаться к ней, что необходимо в деловых ситуациях. Устное общение здесь тоже возможно (разговор по телефону, собеседование при приеме на работу, объявление в аэропорту, доклад), оно менее официально, но от этого не становится бытовым.

Участники делового общения включаются в него не как конкретные личности; здесь мы всегда играем какие-то роли: “начальник” – “подчиненный”, “заказчик” – “исполнитель”, “клиент”, “дачевладелец”, “доверенное лицо”, “даритель”, “нарушитель”, “арендодатель” и т.д. Часто мы составляем документ не от своего имени, а от имени “юридического лица” (организации, предприятия, объединения, фирмы и т.д.). И в любом случае отношения между участниками общения – официальные (“на расстоянии, на дистанции”), неблизкие – независимо от того, насколько хорошо мы знакомы с собеседником.

Точно установить тему – это еще одно обязательное условие в деловой ситуации. Мы говорим и пишем здесь только о том, что может

стать предметом правовых отношений: назначение на работу, аренда помещения, поставка продукции, определение взаимных прав и обязанностей, обвинение в преступлении и т.д.; к тому же тема в сообщении допускается только одна. Иногда трудности делового языка вызваны тем, что мы недостаточно ясно понимаем, что сказать можно, а что – нельзя в деловом тексте. Назовем самые важные моменты:

1) в деловом тексте всегда что-то утверждается, констатируется и – иногда – указывается на необходимость тех или иных действий, что-то предписывается; обычно мы говорим о конкретных событиях, случаях, фактах; однако в некоторых документах (в законах, уставах, правилах) содержание будет обобщенным, здесь не описывается один конкретный случай, а дается общее представление о типичных правовых ситуациях;

2) изложение обоснования должно быть сжатым и конкретным. Например, если мы пишем заявление об отпуске за свой счет, то мы не должны подробно описывать ситуацию, в которой оказались. От нас требуется четко изложить просьбу об отпуске и кратко назвать причину, по которой этот отпуск нам необходим;

3) ситуации, которые отражаются в деловых бумагах, часто повторяются, поэтому повторяется и значительная часть информации; в деловой обстановке от нас, в общем-то, не требуется оригинальность изложения (правда, и здесь бывают случаи, когда приходится быть нестандартным, но это скорее исключение, а не правило);

4) в деловой речи нельзя пропускать какую-то часть необходимых сведений в надежде на то, что адресату они известны;

5) наконец, в деловых бумагах не может быть двусмысленности, неопределенности, деловое сообщение должно быть абсолютно ясным.

Каким же должен быть язык в таком тексте? Конечно, деловой язык должен быть правильным, соблюдать нормы необходимо (Культура устной и письменной речи делового человека. М., 1997; Панова М.Н. Школа для чиновников // Русская речь. 2003. № 3. С. 432–445). Однако этого недостаточно, потому что существуют еще и языковые особенности делового изложения (Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов. М., 1997; Русский язык и культура общения для деловых людей. Саратов, 1997).

В документах широко распространены стандартные наименования предметов, признаков и действий: *головные уборы* (а не *шапки, шляпы, кепки*), *транспортные средства, автотранспорт* (а не *машины*), *настоящее положение* (а не *это положение*), *означенные документы* (а не *документы, о которых говорилось ранее*), *исключительная мера наказания* (а не *высшая мера наказания, суровое наказание*). Именно поэтому в деловых бумагах ограничивается употребление синонимов (если надо несколько раз назвать один и тот же предмет, исполь-

зуется повтор), невозможно появление нового слова для уже названного предмета, признака или действия. Ограничивается также сочетаемость слова: например, “пропуск *изымается* (а не *отбирается*)”, “в случае изъятия или *утери* (а не *потери*) пропуск может быть получен на общих основаниях”, служебное письмо *составляется* (а не *пишется*), *направляется* (а не *посылается*), выговор *объявляется*, а порицание *выносится*, *оклад устанавливается* (а не *назначается*). Деловая речь не боится сложносокращенных и сложных слов, они часто заменяют словосочетания, которые используются в текстах другого типа (*дачевладелец* вместо *владелец дачи*, *жизнеобеспечение* вместо *обеспечение жизни*).

Вообще в деловой речи господствуют существительные (особенно отглагольные: *обеспечение, принятие, освобождение от уплаты, выявление, изыскание, невостребование*), прилагательные и наречия, а роль глагола – вспомогательная. Поэтому здесь, например, предпочтение отдается глагольно-именным оборотам, а не одиночным глаголам: *оказать помощь* (вместо *помочь*), *проводить соревнование* (вместо *соревноваться*). Еще одно влияние существительных – образованные от них обороты со стандартными предлогами: *за неимением, по линии, по причине, в соответствии с* (решением, приказом, распоряжением), *в целях, в связи, по истечении* и т.д.

Активность существительного в деловой речи приводит также к тому, что глаголы часто используются не в активном, а в пассивном залоге: “Информация для водителей о введенном пропускном режиме *обеспечивается* соответствующими дорожными знаками”; “При изъятии пропуска сотрудником ГАИ *делается* запись в путевом листе водителя с указанием номера пропуска и причины его изъятия”. Формы времени у глагола в деловой речи отличаются особыми значениями. Формы настоящего времени часто имеют значение, которое называют *настоящим предписанием*: “По истечении установленных сроков уплаты страховых взносов и других платежей невнесенная сумма *считается* (-должна считаться, обязана считаться) недоимкой и *взыскивается* (-должна взыскиваться) с начислением пени”.

Сходные значения у глаголов будущего времени. А формы прошедшего времени имеют в документах значение подчеркнутой констатации, утверждения: “В связи с перестройкой управления промышленностью в значительной мере *улучшились* возможности размещения заказов на изготовление нового оборудования, автоматических и поточных линий”.

В деловой речи почти нет глаголов и местоимений 1-го и 2-го лица, а формы 3-го лица часто имеют неопределенно-личное значение. Особенностью деловой речи является также активность краткой формы прилагательного с оттенком предписания, в других функциональных разновидностях она встречается значительно реже: “В случае ре-

организации страхователь *обязан* произвести полный расчет по платежам в бюджет Фонда”; “Расходы на санитарно-курортное обслуживание *должны* производиться страхователем в пределах норматива, установленного ему исполнительным органом Фонда на календарный год”.

Типы предложений в деловых сообщениях, так же, как и слова, выбираются по принципу *можно/нельзя*. Здесь используются простые, но распространенные предложения, в них много уточнений, дополнений, сопоставлений однотипных явлений – отсюда обилие однородных и обособленных членов предложения. Часто в документах встречаются цепочки родительных падежей: “Настоящим положением регламентируется порядок *обеспечения* пропускного *режима*”; “выявление *случаев заезда* на Садовое кольцо без пропуска”; “проверка *правильности оформления и использования пропусков*”; “в целях *координации решения вопросов* технического перевооружения мебельной *промышленности Москвы*”. Порядок слов в предложении прямой: сначала подается известная информация, потом – новая.

Все эти языковые правила помогают за короткое время составить грамотное деловое сообщение. Однако надо помнить, что они действуют без исключений лишь в строгом, официальном (обычно письменном) общении. Устное деловое общение, безусловно, “размывает” эти правила, вносит в них некоторую облегченность и свободу. Например, в последнее время глагольно-именные обороты все чаще вытесняются одиночными глаголами, однако только там, где такая замена не искажает смысла. В деловых письмах, инструкциях, приказах все чаще мы видим глаголы и местоимения 1-го и 2-го лица: “*Предупреждаем*, что в случае возврата *Вами* договора с незаполненными реквизитами договор будет считаться неоформленным по *Вашей* вине”; “При необходимости для продвижения бумаги вперед или назад на половину межстрочного интервала *пользуйтесь* клавишами. Если *вы продвигаете* бумагу, вращая валик вместо использования клавиш продвижения бумаги, пишущая машинка не будет подавать сигнал при приближении к концу листа”.

Менее распространенными становятся предложения, сокращаются цепочки падежей. А в деловой переписке речевые формулы с эмоциональной окраской уже не редкость. Учитывая общие правила и эти изменения, мы сможем найти нужные слова для любого делового сообщения.



Кого называть бюджетником?

© И. Г. МИЛОСЛАВСКИЙ,
доктор филологических наук

Теперь у нас всё перевернулось и что-то никак не укладывается. Особенно в головах. Раньше были *героический рабочий класс, славное трудовое крестьянство и народная интеллигенция*. Непременно в такой последовательности. Иногда еще вспоминали про *учащуюся молодежь и ветеранов*. Но материальные блага все получали из одного источника. И назывался он – *государством*. Что это такое, до сих пор не совсем ясно. Кажется, самой актуальной остается дефиниция французского короля: “Государство – это я”. Наследник этого короля, правда, плохо кончил, но государство осталось. Если подумать, это, видимо, опровергает дефиницию. Но только в том случае, если подумать...

Теперь не то. Блага можно получать не только из единственного источника. Ведь есть еще и разнообразный бизнес: большой, средний и малый. Слову *бизнес* в русском языке неплохо бы дать более строгое и ясное определение. Чтобы не путать с *обманом и мошенничеством*. Но вернемся к тем, кто еще получает материальные блага от государства. Того самого, у которого каждая копейка на счету. На содержание президента (одного человека) столько-то, на содержание думы (450 человек) столько-то. На содержание армии, включая самих военнослужащих, столько-то. На медицину, включая строительство и эксплуатацию зданий, покупку техники, соответствующие научные исследования, столько-то. На образование – столько-то. На науку – столько-то. Пенсионерам (их, кажется, несколько десятков миллионов) и на содержание самих социальных учреждений – столько-то ... И вся эта роспись называется вполне понятным русским словом *бюджет*. Русским это слово является не по происхождению (пришло оно из английского *budget*), но по понятности, поскольку бюджет может быть даже *личным и семейным*. И *выходить из бюджета* тоже совсем русское выражение, зафиксированное еще у А.Н. Островского.

Обратимся же к бюджету государственному. Очевидно, что всех лиц, получающих деньги из *бюджета*, можно назвать *бюджетника-*

ми. В составе этого слова, помимо корня *бюджет*, есть еще и суффикс *-ник*, обозначающий “лицо”. При этом конкретные отношения “получающий деньги из” между лицом и бюджетом никак не выражены формально. Это типично для данного русского словообразовательного типа. Например, *школьник* – “лицо, учащееся в средней школе”, а не “работающее”, “живущее” или, например, “оплачиваемое”. Хотя то, что “учащееся”, в составе слова никак не выражено. Или *дворник*, т.е. формально *двор* + *человек*, содержательно еще и “следящий за порядком, убирающий”, а не, например, “владеющий”, “покупающий”, “использующий” и т.п. Принципиально так же соотносятся состав и общее значение слов *лыжник*, *огородник*, *любовник*, *каторжник*, *кожник*, *сердечник*, *охранник*, *колбасник*, *словесник*, *собачник*, *сказочник* и мн.др.

Слово *бюджетник*, естественно, не могло появиться в русском языке раньше, чем появились иные, кроме государственного бюджета, источники получения людьми средств к существованию. Однако употребление этого слова обнаруживает удивительную тенденцию к сужению его значения. *Бюджетниками* называют только работников учреждений культуры, образования и медицины, прежде всего учителей и врачей. Причем таких, которые не занимаются частной практикой, а профессионально и организованно учат и лечат всех тех своих сограждан, кто в этом нуждается. Не соотнося своих усилий с платежеспособностью (или неплатежеспособностью) клиента. Получая при этом мизерную заработную плату от государства, предусмотренную его бюджетом.

В этом своем значении слово *бюджетник* выступает близким к таким характеристикам лица, как *очень бедный*, *почти нищий*, *нуждающийся*... Или *низкооплачиваемый*, поскольку речь все-таки идет о людях не просто работоспособных, но имеющих профессиональную квалификацию и реально работающих. В отличие от *пенсионеров*, которые тоже получают деньги из государственного бюджета, но не работают и обычно не называются *бюджетниками*. По-видимому, это именование остается за работающими, но только в бюджетной сфере, т.е. такой сфере, которая финансируется из бюджета.

Но если *бюджетники* – это не просто лица, но именно “работники, получающие зарплату из средств государственного бюджета”, то почему же это только учителя или врачи? А милиционеры и прапорщики, генералы армейские и милицейские, сотрудники ФСБ и судов, депутаты Госдумы, президент, наконец? Разве они получают материальные блага за свои трудовые усилия не из государственного бюджета? Разумеется, все они тоже являются *бюджетниками*, если полагать значением этого слова “работник бюджетной сферы”, или “работник, получающий зарплату из государственного бюджета”.

Впрочем, в русском языке есть такие случаи, когда в значении слова в целом значение корня как бы расширяется. Так, слово *сапожник*

обозначает не только “лицо” (суффикс *-ник*), которое “шьет или ремонтирует (формально не выраженное в составе слова значение) сапоги”, но любую обувь (*туфли, ботинки, босоножки* и т.п.). Слово *журналист* обозначает не только лицо, работающее в журнале, но и в любом другом средстве массовой информации, на радио, например. Слово *бюджетник* представляет собою, кажется, единственный пример сужения, когда обозначает работников, получающих зарплату из государственного бюджета, МИНУС тех работников, которые непосредственно причастны к созданию этого самого бюджета.

Возникает вопрос, почему же значение слова *бюджетник*, более или менее ясно вытекающее из его состава (значения корня и суффикса), стремятся так неоправданно сузить до “учителя и врача”, “бедные, нуждающиеся”, “низкооплачиваемые”? Почему под этим словом не подразумевают самих держателей власти и их самых близких помощников (высших чиновников, начальников-силовиков)? Наверное, потому, что просто язык не поворачивается одинаково назвать и высшее чиновничество, с одной стороны, и рядовых офицеров, врачей, учителей, работников музеев, с другой. Хотя и получают и те и другие плату за свой труд из одного источника – *бюджета*. При этом она количественно так различается, что создает уже и совсем разное качество жизни. А кроме того, обществу внушается мысль, что получать деньги из государственного бюджета (быть бюджетником) значит обрекать себя на унижительную нищету, выражающую глубокое неуважение к твоему труду со стороны государства.

Мало этого, слово *бюджетник* вызывает ассоциации с *нахлебником*. С человеком, который обеспечивает себя не за счет собственного труда, а получает средства к существованию из какого-то принадлежащего всем источника, напоминающего *общак*. Удивительно ли, что все это не распространяется на труд тех, кто сам устанавливает государственный бюджет?

И почему же граждане не замечают небезобидных манипуляций с русским языком? Наверное, в школе их учили только правилам орфографии, а не значениям слов. Только пунктуации, а не смыслу предложений и текстов. И до сих пор продолжают учить также. А зачем учить по-другому? Ведь чем менее образованны люди, тем легче ими *управлять*. Или *манипулировать*? А может быть, *оболванивать*?



Труженик – тунядец

© И. В. ГЛАЗКОВА

В советский период во всех публицистических изданиях слово *труженик* использовалось весьма активно в качестве нейтрального наименования трудящихся людей: рабочих или крестьян. В то же время этот самый *труженик* служил средством заигрывания власти с народом: «Слово труженик всегда имело значение “тот, кто много и усердно трудится”». Поэтому обобщенное обозначение всех рабочих и крестьян, среди которых, как известно, было много пьяниц и бездельников, носило ханжески лицемерный характер. При этом врачи, учителя, ученые, как правило, не назывались *тружениками*, не было номинаций *труженики школы № 8*, *труженики больницы № 4* и т.п.»

(Ермакова О.П. *Najnowsze dzieje języków słowiańskich*. Русский язык. Opole, 1997. С. 136).

Оппозицию слову *труженик*, которым называли работающих людей разных профессий, в советской печати составляло отрицательное *тунеядец* “человек, который живет на чужой счет, чужим трудом, бездельник” (Словарь русского языка С.И. Ожегова. М., 1987): “Ибо когда все научатся управлять и будут на самом деле управлять самостоятельно общественным производством, самостоятельно осуществлять учет и контроль *тунеядцев*, баричей, мошенников...” (Мол. гвардия. 1964. № 11); “Возможность приобщения к достижениям науки и культуры, получение высшего, а подчас и среднего образования также требует немалых денежных затрат, что оказывается не под силу рядовым *труженикам*” (Известия, 1985. № 9); “Они проявили себя не только как отважные, мужественные навигаторы в космическом океане, но и как самоотверженные *труженики космоса*” (Комс. правда. 1970. № 153).

Слово *труженик* могло называть и положительно оценивать в советской прессе также и не лицо. В этом случае оно не участвовало в оппозиции *труженик* – *тунеядец*: “Это *город-труженик* – здесь находятся крупнейшие в стране предприятия” (Комс. правда. 1970. № 154).

В постсоветский период данная оппозиция стала неактуальной, слово *тунеядец* практически не используется в современной речи, хотя иногда подобное противопоставление, схожее с советским, можно встретить и в современных газетах: “В минуты оптимизма *столяр-свиновод* мечтает: скоро *пьяниц* и *тунеядцев* не будет – останутся только *труженики*” (Комс. правда-Тамбов. 2003. № 56).

Иногда употребление слова *труженик* приобретает иронический характер. При этом *тружениками* могут называть довольно широкий круг лиц: “Народный избранник, облеченный доверием *калифорнийских тружеников*, изменяет собственной и единственной супруге!” (Лит. газета. 2001. № 33); “*Труженицы*, изрядно приняв за ужином на грудь, вдруг увидели живого Явлинского” (Комс. правда. 2000. № 180); “Например, почему она такая *умница-труженица* оказалась на улице, и чем ее не устраивали те десять мест” (Мир новостей. 2000. № 5); “А к концу дня оживляются *ночные труженицы*. Те, кто подступнее, несут вахту напротив Московского вокзала, на Лиговке, и у метро “Площадь Восстания”» (Мег.-Экспресс. 2001. № 30); “Вот ежели бы наше начальство применило дополнительные меры поощрения к *труженикам метлы и лопаты*, тогда ситуация наверняка улучшилась бы” (Комс. правда-Калуга. 2002. № 14); “Сколько их еще, *скромных тружеников рекламы*, прозябает в неизвестности, даря людям радость и смех своим творчеством!” (Комс. правда. 2003. № 51).

Иногда журналисты, используя это слово, делают оговорку, что не имеют в виду иронии: «На эту тему в 70-е он снял несколько комедий

с Жаном Рошфором, назвавшим Робера не только “великим тружеником”, но и “плотником от кинематографа”, впрочем, в самом хорошем смысле» (Коммерсант. 2002. № 79).

Отметим, что современные авторы могут использовать слово *труженик* и в высоком значении: “Природа и человек-труженик, живущий с ней в согласии, а в лихую годину не щадящий себя ради защиты родной земли, – главные герои прекрасных повестей и рассказов Евгения Носова, начавших появляться в печати в конце 50-х годов прошлого века” (Труд. 2002. № 100); “Еще раз подчеркну: это заслуга всего народа, *тружеников* нашей республики!” (Комс. правда. 2002. № 109); “*Труженик* достигает совершенно особых результатов, когда его работа освящается истинно духовной жизнью, крепким нравственным чувством” (АиФ. 2002. № 1–2).

В постперестроечный период, когда отношение к труду уже не было столь четко продиктовано советской идеологией, для обозначения человека, который много трудится, стало употребляться шутивное наименование *трудоголик* (“Разг. Шутл. Очень трудолюбивый человек, у которого любовь к труду становится почти манией”. Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца XX столетия / Под ред. Г.Н. Складчиковой. М., 2001. С. 794): “Он был честолюбив, а такие люди слабыми не бывают. Работать мог сутками – *трудоголик!*” (Комс. правда, 2002. № 95); «“*Трудоголиком*” он был всегда. Даже мама, которая не страшилась любой деревенской работы, сокрушалась, глядя, как корпит за учебниками сын» (Комс. правда. 2002. № 44); “А вот главный сенатор – спикер Сергей Миронов, которому льстит, когда его называют *трудоголиком*, – намерен ездить на службу даже в выходные” (Комс. правда. 2002. № 79).

Калуга



“Буква зю”

© А. В. ЗЕЛЕНИН,
кандидат филологических наук

В русском языке появилась “новая буква”... Не стоит пугаться: речь не идет о пополнении и изменении русского алфавита и орфографии. Рождение этой “буквы” осталось почти незамеченным, однако некоторые словосочетания, в которых она встречается, уже настойчиво “стучатся” во фразеологические справочники. Поговорим о “букве зю”, ее происхождении и использовании в современном русском речевом обиходе.

Для начала попытаемся сформулировать значение фразеологического сочетания “буква зю”. Обычно это словосочетание употребляется с глаголами: *стоять, скрючиться, согнуть(ся), поставить*, то есть значение содержит идею странного, непонятного, неестественного положения какого-либо предмета. Где же искать истоки номинации? По-видимому, своему рождению “буква зю” обязана ... кинематографу, а именно фильмам о Зорро, человеке в черной маске, который шпагой “рисует” свой отличительный знак: букву Z.

В каких же социальных группах и когда родилось словосочетание “буква зю”? Скорее всего, в 70–80-е годы XX века в среде молодежи. Почему же буква Z приобрела на почве русского языка такой необычный фонетический облик? Видимо, на формирование фонетики и смысла влияло то, что фонетическая форма напоминает произношение греческих букв “мю” и “ню”, традиционно вызывающих удивление и смех школьников и студентов. Замена в названии английской

буквы Z (зэт) последних двух звуков звуком “ю” произошло, очевидно, в молодежном языке под влиянием греческих букв. В этом можно усматривать проявление языковой игры с целью вызвать иронические ассоциации благодаря необычному фонетическому облику. Конечно, ирония рождалась именно на основе сосуществования и столкновения в сознании двух типов произношения буквы: нормативного (“зэт”) и нового, трансформированного, игрового (“зю”).

В 80-е годы XX века словосочетание “буква зю” использовалось в устной речи обычно для именованья какой-либо странной позиции тела человека (обычно в согнутом состоянии). Интересно, что чаще всего такие позиции ассоциировались преимущественно с ремонтом автомобиля: автоводители-любители часами проводили время за ремонтом машин, служа объектом шуток и пародий: «Скажите честно, вы ползете под грязное брюхо машины, чтобы, ползая на карачках и изгибаясь *буквой “зю”*, искать какие-то коды» (Автопилот. 1995. № 19); «Ездит Игорь на “девятке”. Год тому назад нашел хорошего механика, который поставил машину на колеса. А так каждые выходные приходилось стоять *буквой “зю”* под открытым капотом» (ТВ-Парк. 1997. № 2). Итак, первой денотативной областью использования фразы “буква зю” в русском языке является так называемая “автомобильная”.

В середине 80-х годов XX века сформировалось второе употребление – “дачное”. По всей стране горожанам стали выделять садово-огородные участки. Выезд на дачи обычно сопровождался интенсивной работой на грядках (в наклон). Так родилась семантика фразы “*буква зю*” – длительная работа в наклонку на своем земельном участке: «Все время наблюдал такую картину, что не дача для человека, а человек для дачи. Эдакое закабаление, когда стоишь с утра до вечера непонятной *буквой “зю”*» (Лица. 2002. № 6). Это употребление закрепилось в современном просторечии, так что уже широко и без пояснений используется в печати и даже художественной литературе: «Доярка часто нагибается: к каждой из коровушек надо по три раза за дойку нагнуться. В сырости, и на сквозняке. “Бывает, встаешь утром – и *буквой “зю”* – не разогнуться» (Семья. 2000. № 35); “А старпом (старший помощник. – А.З.) почему-то изгибается *буквой зю*, и распрямляться не хочет” (М. Веллер. Легенда о морском параде; обратим внимание на отсутствие кавычек, что может служить знаком укоренения фразы в современном языке).

В приведенных цитатах отчетливо видно метафорическое использование фразы “*буква зю*”, образность которой в разговорном языке рождается за счет семантического сопоставления двух объектов (формы самой буквы Z и сравниваемого предмета). Мотивом же сопоставления служит *tertium comparationis* – в данном случае им является представление о чем-либо изогнутом, искривленном.

Конечно, можно сказать и “по-старому”: *стоять на карачках, на четвереньках, изогнувшись*, однако семантическая и образная новизна фразы *стоять буквой зю* для говорящего очевидна. Впрочем (как это всегда происходит в языке с экспрессивными формами) частота использования сочетания довольно быстро “стирает” метафоричность, ибо потребность в мыслительной “реконструкции” исходной внутренней формы (начертание буквы Z) снижается или даже вообще исчезает (нивелируется). Опорой начинает служить вторичная, производная сема “нечто не прямое, согнутое, искривленное”: «Архитектор о стиле не думает. Даже самый оригинальный проект – это сумма ограничений. Тут коммуникации идут, здесь объект ГО (гражданской обороны. – А.З.), а тут мы *буквой “зю”* изогнулись...» (Итоги. 2000. № 44); «Какие упражнения нужно делать первоклашкам, чтобы их спинки не стали к следующим каникулам похожими на “*букву зю*”» (Комс. правда. 2002. № 155).

Таким образом, в современном речевом обиходе мы наблюдаем интересный семантический процесс, когда метафоричность словосочетания “*буква зю*” может даже стираться; однако в качестве семантической “компенсации” словосочетание получило поддержку в метонимических моделях, позволяя практически беспрепятственно создавать всевозможные сочетания в значении “предмет странной, изогнутой формы”. Будучи семантически освоенным в сфере метафорики и приобретя более абстрактное значение “вообще о любом предмете ломаной формы”, теперь сочетание “*буква зю*” может самостоятельно использоваться в языке уже без прежней метафорической “подпитки”. Создание же метафорического значения протекало по пути семантической “разработки” именно второго элемента *зю* во фразе “*буква зю*”.

Однако в русском языке наблюдается и иной процесс, с акцентировкой первого элемента сочетания – *буква* (“*зю*”). В этом случае происходит актуализация именно номинативного компонента. Например: «Если по каким-то причинам письмо адресату вручить нельзя, оно возвращается отправителю по указанному на конверте адресу. Многие же наши сограждане по старинке вместо собственных данных ставят размашистую *букву “зю”* (дескать, кому надо, тот знает, кто я и где меня искать)» (Губерния. Петрозаводск. 1998. № 47); «Суммы по переводу надо написать в последней строчке страницы, а свободные строчки прочеркнуть *буквой “зю”*» (Гарант СК. 2001. 17 июля). В приведенных примерах образность заметно снижена, почти “нулевая” (по терминологии А.Ф. Лосева), так как семантическим центром является непосредственное обозначение ситуации (косой прочерк вместо фамилии или со специальными целями в некоторых официальных документах), хотя легкая ироничность и просвечивает во втором элементе “*зю*”.

Актуализация первого, номинативного, элемента сочетания “буква зю” рождает также трансформации привычных фразеологизмов, например: *от а до я, от аза до ижицы, от альфы до омеги* (от начала до конца): «Но сначала – о внешнем облике школы № 42. (...) Первое впечатление: чисто. Второе: как будто после ремонта. Неисписанные подоконники и парты (представляете?), люстры (почти домашние), профессионально оформленные стены, цветы. (...) Плюс 1700 школьников в 65 классах *до буквы “зю”*» (Деловые вести. Волгоград. 1998. № 16). В этом предложении выражение “до буквы зю” является индивидуально-речевой модификацией приведенных выше нормативных фразеологизмов, однако эта трансформация не мешает понимать журналистскую языковую находку, поскольку данное языковое усечение (*до буквы зю*) опирается на нашу языковую компетенцию, помогающую реконструировать индивидуально-авторскую фразу с опорой на уже слышанные, узуальные. Итак, сочетание “буква зю” проникло даже во фразеологический ярус русского языка, оживляя старые, традиционные словосочетания.

Чрезвычайно высокая активность выражения “буква зю” в русском языке влияет и на русскоязычные средства массовой информации в соседних с Россией государствах, однако в русскоязычных масса-медиа ближнего зарубежья основные ситуации использования выражения связаны, в основном, с обозначением физического положения человека (предмета) и не представляют такого семантического и прагматического разнообразия, как в русском языке в России: «По трассе как-то странно, *буквой “зю”*, петляя, рулит “Мерседес”» (Автобизнес-Weekly. Минск, 2001. № 33); «Я звоню вам, потому что сегодня вторник, а машина по-прежнему стоит во дворе *буквой “зю”*, и ее никто не забирает» (Молодежь Эстонии. 2004. 21 янв.); «Некий красавец на моторке – выписывал на воде *букву “зю”*» (Туризм и отдых. Минск, 2002. № 12); «Обозначьте эту позу хоть *буквой “зю”*, хоть чисто по-белорусски “на кукірышках”, но она абсолютно далека от нормальной» (Народная газета. Минск. 2001. 12 окт.). Изредка встречается и расширительные употребления: «У депутата Кучинского появился уникальный шанс доказать не на словах, а на деле, что не все в этой стране, как он выразился однажды, “ставят человека *буквой “зю”*» (Белорусская газета. 2000. № 14). Интересно, что в русскоязычной прессе дальнего зарубежья не удалось зафиксировать фразу “буква зю”. Возможно, это связано с нахождением русскоязычных в “окружении” латинского алфавита, что снижает возможность иного, иронического, взгляда, например, на букву Z. Выражение “буква зю” – языковой продукт русской речи метрополии.

Подведем итоги. Выражение “буква зю”, возникнув скорее всего в молодежном сленге в 70–80-е годы XX в. (точную датировку установить нелегко) как шутивное переименование алфавитного названия

“буква зет”, в 80–90-е годы значительно расширило сферу речевого владения, перейдя в просторечное употребление. Во второй половине 90-х годов фраза проникла и в публицистический язык, порождая причудливые семантические преобразования.

Семантические процессы, протекающие в структуре выражения “буква зю”, можно охарактеризовать как сосуществование двух механизмов: метафоры и метонимии. В процессе метафоризации смысл выражения “отделился” от исходного значения “напоминающий по форме букву Z”; фраза приобрела новое, более отвлеченное значение “нечто искривленное по форме”, что обеспечило новые возможности языковой трансформации данного выражения благодаря семантической емкости.

С другой стороны, именно расплывчатость смысла не сужает, а, наоборот, расширяет стилистические, семантические и прагматические возможности фразы. Это обстоятельство позволяет сочетанию вступать в смысловые связи со старыми русскими фразеологизмами, в которых образность уже стерта или проступает не так ярко.

Актуальность и популярность выражения “буква зю” ставит перед лексикографами задачу внести его как во фразеологические, так и в толковые словари с соответствующей стилистической пометой и комментариями. Есть ли у этой языковой новинки последних двух–трех десятилетий языковое будущее? Можно прогнозировать, что в ближайшие годы или даже десятилетия она останется в языковом багаже российского общества.

Санкт-Петербург



МОСКОВСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ – 250 ЛЕТ

© Л. Г. ЛИТВИНОВА,
кандидат исторических наук

Своим рождением Московский университет обязан великому русскому ученому – Михаилу Васильевичу Ломоносову, по инициативе которого и был основан в 1755 году. Содействие в этом проекте ему оказывал просвещенный государственный сановник Иван Иванович Шувалов, при покровительстве императрицы Елизаветы Петровны. Причины, побудившие открыть Университет именно в Москве, были изложены в правительственном Указе: “Великое число (...) живущих дворян и разночинцев; положение столицы в центре Русского государства; дешевые средства к содержанию; обилие родства и знакомства у студентов и учеников; великое число домашних учителей, содержаемых помещиками в Москве”.

Торжественное открытие Московского университета состоялось 26 апреля 1755 года в бывшем доме Главной Аптеки на Красной площади у “Воскресенских ворот”. Об этом нам напоминает мемориальная доска, установленная на фасаде здания современного Исторического государственного музея, построенного позже на этом месте. С первых дней своего существования Московский университет становится важнейшим центром общественной жизни, российской науки, культуры и просвещения.

Первый российский университет возник не на пустом месте. Этому событию предшествовало создание еще в 1687 году в Москве Славяно-греко-латинской академии, соединившей черты высшей и средней школы, где преподавались славянский, латинский и древнегреческий языки, грамматика, пиитика, риторика, физика, психология и богословие. Но после 1755 года ее значение в распространении общего образования в России было утрачено, а в преподавании главное внимание сосредоточилось на богословии. Более того, еще в 1685 году впервые с проектом учреждения в Москве университета выступил Сильвестр Медведев, указавший, что необходимо “свет наук явити”. Однако этот

проект не был осуществлен. Идея С. Медведева воплотилась в жизнь лишь в XVIII веке, после реформ Петра I, когда необходимость в образованных людях в России стала уже первостепенной.

В 1725 году в Петербурге была открыта Академия наук с университетом, где в свое время преподавал и выдающийся ученый М.В. Ломоносов. Однако, несмотря на то, что по времени основания этот университет и является первым, он никогда не был самостоятельным и доступным для выходцев из низших сословий, не сделал весомого вклада в развитие наук, и тем более не стал центром просвещения. Объяснить это можно нежеланием академиков-иностранцев вводить обучение на русском языке, который они так и не выучили. Приглашенные из-за границы профессора, предпочитавшие обучать студентов из Германии, совершенно не занимались образованием российских студентов. За двадцать лет функционирования академического университета в Петербурге ни один из его выпускников не получил профессорского звания. По сути, университет играл второстепенную роль в системе Академии наук, практически прекратив свое существование после смерти М.В. Ломоносова. Несмотря на то, что академический университет и стал неудачной попыткой введения университетского образования в России, тем не менее, опыт его деятельности неоспорим.

Университет можно рассматривать как корпорацию студентов и ученых, которая предполагает широкую автономию, свободное преподавание и развитие разных направлений научных знаний, а самое главное – право присваивать различные научные степени и звания. Такими корпорациями в период средневековья стали особые типы школ, получившие позднее звание университета с законодательно закрепленным статусом и определенными привилегиями. Первые из старейших европейских университетов – Болонский и Парижский – стали неким образцом для создания подобных высших учебных заведений в других государствах Европы.

Проект М.В. Ломоносова об учреждении Московского университета опирался на многовековой опыт европейских университетов, с которым великий ученый познакомился, находясь на учебе в Германии. Многие замыслы, которые безнадежно вынашивал Ломоносов с целью преобразований в академическом университете, были претворены им в жизнь лишь при основании Московского университета. В результате этот университет с момента своего открытия обладал особыми привилегиями, главная из которых – самостоятельность управления. В XVIII веке Московский университет был единственным в Европе, не имевшим в своей структуре богословского факультета, что с самого начала давало возможность свободному развитию научных знаний и освобождению всех университетских изданий от предвзятости цензуры.

Московский университет стал первым высшим учебным заведением в России, открывшим доступ к наукам молодежи из всех сословий, даже из вольноотпущенных крестьян. Именно разночинцы стали его первыми студентами, обучавшимися бесплатно. Как считал Ломоносов, “в университете тот студент почтеннее, кто больше научился, а чей он сын – в том нет нужды” (Билярский П.С. Материалы для биографии Ломоносова. СПб., 1865). Из 26 русских профессоров, преподававших во второй половине XVIII века, только трое были выходцами из дворян.

Московский университет состоял из собственно университета, включавшего десять кафедр и три факультета – юридический, медицинский, философский, и гимназию. Наличие университетской гимназии как подготовительного учреждения для поступления в университет имело большое значение. Недаром еще до его открытия М.В. Ломоносов писал И.И. Шувалову, что университет без гимназии, “как пашня без семян”. Начиная с 1759 года гимназия регулярно обеспечивала университет студентами. Среди первых ее выпускников были Василий Рубан, будущий известный писатель, и Семен Десницкий, будущий профессор юриспруденции.

В рамках университетской гимназии на протяжении семи лет существовали художественные классы, ставшие ядром основанной в 1757 году в России Академии художеств и подготовившие для нее первых студентов. В составе переведенных из Университета в Академию учеников были и знаменитые в будущем архитекторы В.И. Баженов и И.Е. Старов. В этой связи большой интерес вызывает Указ Сената от 6-го ноября 1757 года об учреждении Академии художеств не в Москве, а в Петербурге: “... иностранные (мастера) посредственного знания, получая великие деньги, обогатясь, возвращаются, не оставя по сие время ни одного Русского (ученика) ни в каком художестве, который бы умел что делать (...) Сия академия будет учреждена здесь в Санкт-Петербурге, по причине, что лучшие мастера не хотят в Москву ехать, как в надежде иметь от двора работы (заказы), так и для лучшего довольствия иностранных здешней жизни...” (Шевырев С.П. История императорского Московского университета, написанная к столетнему его юбилею. 1755–1855. М., 1998). Хотя с 1758 года Академия художеств и Московский университет являлись самостоятельными учреждениями, тесные связи между ними продолжали существовать до 1762 года. Университет по-прежнему направлял в Академию наиболее одаренных, наделенных способностями к искусству учащихся.

Успешная деятельность гимназии способствовала открытию подобной гимназии в Казани (1758 г.), вошедшей в структуру Московского университета (в 1804 г. на ее основе был открыт Казанский университет). Следует отметить, что в Петербурге в это время гимназии не существовало.

В 1779 году при Московском университете был открыт Благородный пансион (с 1830 г. – дворянская гимназия), питомцами которого в разные годы были многие выдающиеся представители русской культуры.

Московский университет дал стране и первых отечественных профессоров, читавших лекции студентам уже на родном русском языке – именно этого всегда добивался М.В. Ломоносов. В первые годы в университете преподавали в основном иностранные профессора, специально приглашенные из-за рубежа, и только двое русских – Н.Н. Поповский и А.А. Барсов, но уже в начале XIX века большинство предметов читали русские профессора.

Через год после открытия университета, в марте 1756 года, была основана университетская типография “ради успешного распространения знаний на пользу общую” (225 лет издательской деятельности Московского университета. 1756–1981. Летопись. М., 1981.) и книжная лавка при ней. Именно в университетской типографии уже в апреле 1756 года начала печататься первая московская и вторая в стране газета – “Московские ведомости” (издавалась по 1917 г.), выходившая два раза в неделю, а затем начал издаваться и первый литературный журнал “Полезное увеселение”. С начала своего учреждения типография становится центром по изданию не только научной, но и художественной, детской и политической литературы. Неудивительно, что за один первый год в университетской типографии было напечатано четырнадцать книг, в том числе и первый том сочинений М.В. Ломоносова.

С 1779 года на протяжении десяти лет университетскую типографию возглавлял питомец университетской гимназии – выдающийся русский просветитель и общественный деятель Н.И. Новиков, сыгравший значительную роль в распространении научных знаний, публикуя произведения передовых русских и зарубежных ученых, писателей, издавая сочинения французских энциклопедистов.

В 1756 году была открыта университетская библиотека, которая с момента своего основания становится публичной и общедоступной “для любителей наук и охотников чтения”. Тяжелый урон был нанесен ей пожаром 1812 года, когда полностью выгорело главное здание и другие университетские строения по Моховой улице. В огне тогда погибли ценнейший университетский архив и богатейшая библиотека, состоявшая из двадцати тысяч томов. Однако благодаря широкой государственной и общественной поддержке очень скоро старейший российский университет был восстановлен. Более того, через газету “Московские ведомости” от 12 июля 1813 года Московский университет обратился с воззванием к “благодетелям просвещения, особенно к его питомцам, о пожертвовании книг и других учебных пособий” (Шевырев. Указ соч.), что дало возможность пополнить библио-

теку более чем пятью тысячами томов. Благотворительные акции в пользу университета неоднократно совершались и раньше. В разное время жертвователями во благо университета являлись такие замечательные люди, как Демидовы, Е.Р. Дашкова, Е.Ф. Муравьева, С.М. Третьяков, профессор Фишер фон Вальдгейм, В.М. Рихтер и многие другие.

Ярким событием 1756 года, через год после открытия университета, стало создание в Санкт-Петербурге профессионального театра под руководством Федора Волкова. В том же 1756 году по инициативе и под руководством куратора М.М. Хераскова при Московском университете возник студенческий театр. На его сцене ставились пьесы как русских, так и иностранных авторов в переводе студентов университета. Со временем студенческий театр стал профессиональным, в его труппу вошли и профессиональные актеры (Шевырев. Указ соч.).

С 1755 года до введения первого устава (в 1804 г.) структура университета оставалась практически без существенных изменений. В 1804 году император Александр I утвердил первый университетский Устав, закрепивший основы университетской автономии – выборность ректоров, деканов, профессорско-преподавательского состава, предоставление Совету профессоров права решать все вопросы университетской жизни, присуждать ученые степени, избирать почетных членов, создавать научные общества.

Именно тогда при Московском университете были открыты первые научные Общества: истории и древностей российских (ОИДР. 1804 г.), испытателей природы (МОИП. 1805 г.), Физико-медицинское (1805 г.), любителей российской словесности (ОЛРС. 1811 г.), любителей естествознания, антропологии и этнографии (ОЛЕАЭ. 1863 г.), Московское математическое (1867 г.), Юридическое (1871 г.), Психологическое (1884 г.), Педагогическое (1898 г.), и ряд медицинских обществ.

26 июля 1835 года был утвержден Общий устав императорских российских университетов. В целом, университетские уставы 1835, 1863, 1884 годов и временные правила об управлении высшими учебными заведениями 1905 года определяли новые принципы взаимоотношений власти с университетами.

Если говорить о структуре Московского университета, то в 1849 году в рамках философского факультета было образовано два отделения – физико-математическое и историко-филологическое. Устав 1863 года закрепил существование нового историко-филологического факультета в составе университета.

Таким образом, с начала 60-х годов XIX столетия вплоть до Октябрьской революции Московский университет состоял из четырех факультетов: историко-филологического, физико-математического, юридического и медицинского. Кроме того, в его структуре было

шестьдесят учебно-вспомогательных учреждений, лабораторий, в том числе Музей изящных искусств, Зоологический музей, Астрономическая и Метеорологическая обсерватории, Ботанический сад, Клиническая больница с Бактериологическим институтом.

С полной уверенностью можно сказать, что инициаторами практически всех культурных и научных начинаний являлись профессора и преподаватели Московского университета. Так, одним из учредителей первой воскресной школы в Москве был ректор университета профессор Н.С. Тихонравов (1860 г.); организатором Высших женских курсов в Москве стал профессор В.И. Герье (1872) и учредителем Женских курсов в Петербурге – питомец Московского университета К.Н. Бестужев-Рюмин (Бестужевские), положившие начало высшему женскому образованию в России. Также по ходатайству профессоров медицинского факультета университета в конце XIX века был построен Клинический городок на Девичьем поле.

До революции при содействии Московского университета возникли и первые московские музеи, ставшие со временем крупнейшими музеями страны: Политехнический, Зоологический, Исторический, Музей изящных искусств (Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина), а также Ботанический сад, Зоопарк и др.

С 1917 года наступает новая веха в многовековой истории России и в славной истории Московского университета.

Революционный декрет от 2 августа 1918 года отменил все сословные ограничения, а также способствовал привлечению в высшую школу женщин. Однако для выходцев из пролетарской среды оставалась фактическая преграда – отсутствие должной подготовки для обучения в вузе. С этой целью сначала в Московском университете, а затем и в других вузах страны был образован рабочий факультет (рабфак). Уже к 1920 году была создана прочная база пролетаризации высшей школы.

С 1925 года начала выходить газета “Московский университет” (издается по настоящее время).

С начала 1919 года в структуре университета было пять факультетов: физико-математический, филологический, медицинский, факультет общественных наук и рабфак. В это время начали меняться учебные планы факультетов, в которых основное место отводилось лекционным курсам, вводились практические занятия, семинары, спецкурсы.

Не все профессора приняли новые порядки, связанные с коренными преобразованиями, проводимыми в стенах университета. Новая власть требовала пересмотра идеологических основ преподавания гуманитарных дисциплин. Многие из преподавателей, не приняв новых требований, вынуждены были покинуть родную Alma Mater. Часть профессуры была подвергнута необоснованным репрессиям. Таким образом, из-за господства государственной идеологии в 30–50-х годах

XX века под сомнение ставились целые научные направления и сворачивались исследования по ним, например, в общественных науках, биологии, кибернетике, филологии.

К концу 30-х годов XX века в основном сложилась структура университета: администрация, партийная организация, профессорско-преподавательский состав. 15 августа 1939 года был принят Устав Московского университета, вобравший в себя весь накопленный опыт и ставший основным документом, определяющим права и обязанности лиц; назначение и порядок работы структурных подразделений. В университете был создан Ученый совет во главе с ректором, на факультетах – Ученые советы под председательством деканов. Устав четко обозначил роль кафедр, факультетов и институтов как основных учебных и научных подразделений.

Перед войной структура университета включала уже семь факультетов – химический, физический, механико-математический, биологический, геолого-почвенный, географический, исторический; сектор заочного обучения; 95 кафедр; 11 научно-исследовательских институтов; 66 исследовательских и учебных лабораторий; 27 кабинетов; 2 обсерватории (Астрономическую и Метеорологическую); Ботанический сад; четыре музея; биологические станции в Звенигороде и на Белом море; Научную библиотеку им. А.М. Горького; университетскую типографию; издательство.

К началу 40-х годов XX века профессорско-преподавательский коллектив университета насчитывал около 700 человек. Среди них были выдающиеся ученые и яркие личности: академики – историк Б.Д. Греков, химики Н.Д. Зелинский, И.А. Каблуков, Н.С. Курнаков, С.С. Наметкин, А.Н. Фрумкин, математики А.Н. Колмогоров, С.Л. Соболев, математик и географ О.Ю. Шмидт, механик Н.Е. Кочин, астроном В.Г. Фесенков, физик Л.И. Мандельштам, биолог И.И. Шмальгаузен и др. В 1940 году в университете работало 14 академиков, 29 членов-корреспондентов АН СССР, 159 докторов наук, 227 кандидатов наук.

В 1940 году в связи со 185-летним юбилеем Указа об учреждении Московского университета и 175-летием со дня смерти М.В. Ломоносова Верховный Совет СССР наградил Московский университет орденом Ленина и присвоил ему имя основателя – Михаила Васильевича Ломоносова. С тех пор первый российский университет известен во всем мире как Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Силами университетской администрации и профессорско-преподавательского коллектива был разработан цикл научно-популярных лекций по истории Московского университета. Лекции читались в клубах, домах культуры, на предприятиях Москвы и в других городах СССР.

Особое место в истории Университета занимают военные годы. Вся научная, учебная, общественная жизнь определялась военными

условиями и задачей мобилизации всего университетского коллектива на помощь фронту. Более пяти тысяч университетских питомцев ушли на фронт, из них свыше тысячи человек были награждены орденами и медалями СССР и иностранных государств, а семь человек были удостоены звания Героя Советского Союза. Более трех тысяч студентов, аспирантов, профессоров, сотрудников и преподавателей остались на полях сражений. Из студентов-добровольцев всех факультетов университета был сформирован артиллерийский полк 8-й Краснопресненской дивизии народного ополчения, оборонявший Москву. Кроме того, студенты и сотрудники университета участвовали в строительстве оборонительных сооружений, стали бойцами ПВО и истребительных батальонов, активно участвовали в военно-шефской и агитационно-пропагандистской работе в частях Советской Армии и среди населения.

С октября 1941 года Московский университет находился в эвакуации, в Москву он вернулся только весной 1943 года.

К моменту возвращения университета в Москву в его составе значилось уже одиннадцать факультетов, в том числе ликвидированные ранее филологический, экономический, философский, исторический и юридический. В октябре 1946 года в университете был создан факультет международных отношений, а с 1946 года появились первые иностранные студенты. С этого времени начинает расширяться география стран приезжающих на учебу студентов.

В послевоенные годы наступил новый этап в жизни университета. В 1948 году было принято решение о строительстве новых зданий Московского университета на Воробьевых горах, а 1 сентября 1953 года состоялось открытие первых корпусов для естественных факультетов, оснащенных новейшим учебным оборудованием и приборами для проведения исследовательской работы.

В эти же годы был учрежден факультет журналистики (1952 г.), а на базе восточных отделений филологического и исторического факультетов был образован Институт восточных языков (1956 г.) – в последствии – Институт стран Азии и Африки. В 1959 году был открыт подготовительный факультет для иностранных граждан (сейчас – Центр международного образования).

В советское время в Москве на базе Московского университета возникли Медицинская академия имени И.М. Сеченова, Геолого-разведочная академия, Университет международных отношений, Физико-технический институт, из бывших Высших женских курсов выросли Химико-технологический институт, Педагогический университет, Второй медицинский институт и другие. С помощью МГУ были созданы многие университеты в республиках СССР (например, в Белоруссии, Молдавии и др.).

Большие структурные изменения начали происходить с конца 80-х годов прошлого века, когда в составе университета появились не

только новые лаборатории, учебные центры, но и новые факультеты, например, социологический и иностранных языков; существенные изменения претерпели и некоторые кафедры Московского университета, прежде всего, это кафедры по изучению истории КПСС. В 1987 году в МГУ впервые была создана и новая общественная женская организация – женсовет, преобразованная в 1990 году в Общественное объединение “Союз женщин МГУ”.

Все новации были зафиксированы в новом университетском уставе, введенном в действие в июне 1992 года приказом ректора. По Уставу общее руководство университетом осуществляет Ученый совет, значительно были расширены права факультетов и научно-исследовательских институтов, которые являются самостоятельными учебно-научными организациями, входящими в структуру университета. Указом Президента Российской Федерации Московский университет получил статус российского самоуправляемого (автономного) высшего учебного заведения.

Сегодня в состав университета входят 30 факультетов, 8 научно-исследовательских институтов, научно-исследовательские центры и лаборатории, Ботанический сад, музеи, типография и издательство, Научная библиотека, физико-математическая школа-интернат им. А.Н. Колмогорова для одаренных детей – будущих студентов университета, культурный центр, студенческий театр, академический хор.

Всему миру известны имена лауреатов самой престижной, Нобелевской, премии – Н.Н. Семенов, И.Е. Тамм, И.М. Франк, Л.Д. Ландау, А.М. Прохоров, П.Л. Капица, В.Л. Гинзбург, А.Д. Сахаров и М.С. Горбачев (первый и единственный Президент СССР). Все они когда-то учились или работали в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова.

В наши дни, как и два с половиной века тому назад, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова остается по-прежнему важнейшим общенациональным центром науки, просвещения и культуры. Поэтому для российских и иностранных юношей и девушек стать его студентом остается радостным и престижным событием.

Забытые труды А.С. Шишкова

© О. В. НИКИТИН

В истории русской культуры конца XVIII–XIX веков имя Александра Семеновича Шишкова – одно из центральных и наиболее почитаемых, в то же время и противоречивых. Он был исключительно одарен в разных областях и снискал славу как государственный деятель, мореплаватель, писатель и, конечно же, филолог.

Мы не станем здесь анализировать все труды А.С. Шишкова, а обратим внимание на те его творения, которые стали своеобразным символом той эпохи, не затерялись в череде ее открытий и обсуждаются поныне.

Одной из самых читаемых и дискутируемых книг А.С. Шишкова явилось “Рассуждение о старом и новом слоге российского языка” (первое издание – СПб., 1803). Созданное на рубеже столетий, оно выражало взгляды А.С. Шишкова и его наблюдения над развитием отечественной словесности. Он принадлежал к кругу ученых, отстаивавших незыблемость старых традиций, славянского речевого уклада и выступавших против иностранных нововведений. Уже в первых строках его сочинения выражены искренние опасения по поводу происходивших перемен: “Всяк, кто любит российскую словесность, и хотя несколько упражнялся в оной, не будучи заражен неисцелимою и лишашею всякого рассудка страстию к французскому языку, тот, развернув большую часть нынешних наших книг, с сожалением увидит, какой странный и чуждый понятию и слуху нашему слог господствует в оных” (Шишков А.С. Рассуждение о старом и новом слоге российского языка // Собрание сочинений и переводов адмирала Шишкова. СПб., 1824. Ч. II). А.С. Шишков искренне недоумевал: “Кто бы подумал, что мы, оставя сие многими веками утвержденное основание языка своего, начали вновь созидать оный на скудном основании французского языка? <...> Откуда пришла нам такая нелепая мысль, что должно коренный [так в тексте. – О.Н.], древний, богатый язык свой бросить и основать новый на правилах чуждого, несвойственного нам и бедного языка французского?” (Там же). Ученый полагал, что это происходит от “образа воспитания” и той моды, которая зародилась в писательской среде: “русские слова... пришли совсем в забвение”.

В “Прибавлении” к своему сочинению, где ученый анализировал критические выпады в свой адрес, он не отвергал экспериментов про-

шлых эпох и, воздавая им дань уважения, при этом замечал, что отдельные замыслы русских императоров могли быть поняты ошибочно: “Пускай всякий делает по-своему, но не должно презирать ни дворянину купецких обычаев, ни купцу дворянских. Благодарим виновников просвещения нашего: благодарим великого Петра, что он принудил нас украшаться знаниями! – знаниями, а не заимствованием пустых вещей и пороков” (Шишков А.С. Прибавление к сочинению, называемому Рассуждение о старом и новом слоге российского языка, или собрание критик, изданных на сию книгу, с примечаниями на оную. СПб., 1804).

Заметное место в филологической полемике того времени заняли “разговоры о словесности” А.С. Шишкова. Выдержанные в стиле беседы, они содержат ответы на многие актуальные и спорные проблемы правописания, грамматики и т.д. В них ученый выступал и как философ языка, и как его “старорежимный” заступник. Приведем характерный, на наш взгляд, пример дискуссии о букве э:

«А. Нужна ли в нашем языке буква э?

Б. Вряд нужна ли [так в тексте. – О.Н.]. Ломоносов полагал ее только надобное для иностранных слов, таковых, как *эскадра*, *экземпляр* и проч. В чистом русском языке нет никаких названий, в которых бы она произносилась, выключая трех или четырех простонародных слов, таковых, как *это*, *экой*, *эх*. Толь малое число названий не стоит того, что иметь для них особливую букву. Для того многие вместо *это*, *этот* пишут *ето*, *етот*, предполагая, что всякий русской знает, как произносятся сии немногие и простому только слогу приличные местоимения. Ныне частое употребление оных сделало нужнее букву э. Но лучше бы сии простонародные слова писать несогласно с произношением, нежели употреблением их в среднем и даже высоком слоге, портить чистоту языка. Вы нередко в нынешних книгах вместо *по одержании толь знаменитой победы сей храбрый воин* и проч. найдете: *по одержании толь знаменитой победы этот храбрый воин* и проч. надлежит крайне быть невежественну в языке, дабы не почувствовать нелепицы, какую делает здесь слово *этот* вместо *сей*.

А. Позвольте мне остановить вас.

Б. Охотно.

А. Вы называете выражение *этот храбрый воин* нелепицею?

Д. Да, в речи, которую я выставил.

А. Я докажу вам, что оно хорошо.

Б. Посмотрим вашего доказательства.

А. Я скажу: *по одержании толь знаменитой победы этот храбрый воин наострил лыжи*.

Б. Да, когда речь сию обратите в насмешливую, в таком случае слово *этот*, по причине последующей, столь же простой или низкой

речи, *навострил лыжи*, конечно, будет приличнее, нежели *сей*. Но, повествуя с важностью, вмешивать низкое слово в средину отборных и говорить: “по одержании толь знаменитой победы *этот* храбрый воин предался сладкому после трудов отдохновению”, есть, конечно, нелепица» (Разговоры о словесности. Сочинение Александра Шишкова. СПб., 1811).

Общеизвестна деятельность А.С. Шишкова на ниве отечественной лексикографии, которая только в первые десятилетия XIX века приобретала черты научности сравнительно-исторической методологии. Ученый был одним из свидетелей и участников зарождения словарного дела в России: от первых попыток создать академический толковый словарь (при Екатерине II) до уже вполне нормативных и отработанных с лингвистической точки зрения опытов середины XIX века. Но А.С. Шишков выделялся своим подходом к решению поставленных научных задач. В этой связи весьма оригинален его опыт сочинения “Морского словаря”, к которому он шел долгие годы.

Юность свою он провел в морском кадетском корпусе, затем служил “многие на море кампании”, начальствовал “в мирное время и в войну с шведами фрегатом и кораблем”. Кроме прочих заслуг, своеобразной ступенью к будущему словарю послужила работа по переводу на русский язык книги профессора Рома “Морское искусство”. Как позднее заметил Голенищев-Кутузов, “перевод требовал особенных познаний в науках и в российском языке, совершен с лучшим успехом, напечатан и посвящен императрице [Екатерине II. – *О.Н.*]” (Морской словарь, содержащий объяснение всех названий, употребляемых в морском искусстве. Сочинил адмирал А.С. Шишков. СПб., 1832. Т. 1).

Создание А.С. Шишковым первого в России “Морского словаря”, стало делом всей его жизни и он в полную силу использовал знания и практический опыт морского офицера. Работу А.С. Шишкова заметили на высочайшем уровне. Император Николай I в своем рескрипте написал: “Александр Семенович! Получив чрез начальника Морского штаба моего сочиненный Вами *полный Морской Словарь* и видя из отношения Вашего к нему, что и на прежние Ваши по морской части сочинения, право перепечатывания Вы предоставляете правительству, я с особенным удовольствием изъявляю Вам за сие мою признательность.

Труды Ваши всегда были полезны отечеству, и мне приятно видеть, что и в свободное время Вы заботитесь о пользе наук...”

Итак, “Морской словарь” А.С. Шишкова – первый специальный терминологический лексикон, вобравший в свой состав 1251 слово, не считая многочисленных карт и схем, иллюстрировавших обозначенные в нем понятия. Уже сама попытка составить такой словарь достойна восхищения и как филологический подвиг, и как гражданская позиция. Ведь А.С. Шишков хотел увековечить весь современный ему

вокабуляр морского (в широком смысле) дела. Первоначально, как писал во вступительной статье к первому тому Голенищев-Кутузов, труд ученого планировалось разделить “на пять отдельных словарей, а именно: по кораблестроению, вооружению, кораблевождению, артиллерии и наукам” (Там же). Но всего вышло только **три тома**: “Словарь по кораблестроению” (СПб., 1832. Т. 1), “Словарь по наукам, до мореплавания относящимся” (СПб., 1835. Т. 2) и “Словарь по артиллерии” (СПб., 1840. Т. 3). Особо оговаривалось в предисловии к первому тому не только профессиональная потребность в таком источнике, но и его лексикографическая особенность. Отмечалось также, что в нем много слов русских, например – *корабль, руль, парус, весло, якорь, дно, вежа, корма, нос* и др. и обрусевших – *мачта, карта, порт, блок, шлюбка* (так у Шишкова. – О.Н.) и т.д.

Труд А.С. Шишкова, по мнению Голенищева-Кутузова, имеет и немалую учебно-педагогическую ценность: “Словари по наукам не принадлежат к систематическим изложениям, употребляемым для преподавания сих наук, но обучающимся доставляют великое пособие для приобретения нужных им сведений; например, гардемарины и ученики кондукторских рот учебного морского экипажа, при самом поступлении их в класс корабельной архитектуры, имея предлежащий Словарь, весьма скоро, так сказать, неприметным образом узнают объясненные названия, относящиеся собственно к кораблестроению” (Там же).

Оценивая “Морской словарь” с современных нам научных позиций, можно сказать, что он принадлежит к типу специальных словарей. Причем в нем содержатся не только перечень терминов (понятий) с их краткими характеристиками (толкованием) и минимумом грамматических помет, но и обширные, по несколько страниц, научно-практические комментарии по данному предмету. Автор отчетливо выделял значения у слов, наличие у них синонимов, но главное внимание здесь сосредоточено на содержательной стороне лексемы – изложение с максимальной точностью, скрупулезностью деталей того или иного объекта описания. Приведем характерные примеры из первого тома:

“Ранк, имя прил. муж. – Слово, прежде бывшее в употреблении для означения, что судно валко.

Рангоус, или **Ют**, имя сущ. муж. – Самая верхняя палуба у кораблей, начало ее впереди близ бизань-мачты, окончание у самой кормы.

Ребро, имя сущ. сред. – Сие слово имеет два значения, первое: судно, когда еще не обшито досками, некоторым образом подобно скелету животного, ибо как в скелете ребра соединены с хребтовой костью, так <...> шпангоуты в судах часто называют ребрами; второе: названием ребра у доски, или большого, широкого бруса, отличают ту сторону или грань, которая составляет толщину сего бруса. Говорят,

поставить доску на ребро, то есть лежащую плашмя поворотить на то из ее измерений, которое меньше. Из опытов известно, что дерево, поставленное на ребро, переломится не так скоро, как лежащее плашмя" (Морской словарь... Т. 1).

Даже из этих словарных статей виден подход ученого к лексикографической работе. А.С. Шишков не всегда давал буквальный перевод термина, а скорее делал это описательно, приводя характерные сочетания, вызывающие в воображении читателя реальные картины. Практическая направленность этой работы очевидна.

Еще одна интересная особенность книги заключается в том, что автор вводил в словарную статью и собственные наблюдения, и известные ему архивные источники, как бы иллюстрируя термин документальными экскурсами в прошлое. Так, при объяснении одного из них он цитировал фрагмент из письма Петра I:

«**Фордупельт**, имя сущ. муж. – Обшивка, состоящая из досок больше или меньше толстых, покрывающая наружную поверхность корабельных боков около грузовой ватерлинии. Сию частную обшивку, простирающуюся от носа к корме, кладут тогда токмо, когда примечают, что корабль, по малой обширности ватерлинии, валок, то помощи прибавленной обшивки прибавится устойчивость, но прежде сию обшивку всегда делали, как видно из писем Петра Великого; в одном он пишет следующее: "Голландские корабли, купленные в Голландии, зело ранк, того для надобно им Фордупельт, дабы наполнить между баргоутами, а именно, начиная от нижнего, положить доски толщиною в шесть дюймов, первую под баргоутом, а от нее по малу тоне одна другой, класть до самого киля..."» (Там же).

В зависимости от семантического объема термина, его реального назначения и роли в морском деле автор давал и краткие, и исчерпывающие характеристики слова. Среди них есть и узкоспециальные термины (как правило, заимствованные из иностранных руководств), и лексемы, ставшие общеупотребительными и потому понятные широкому кругу читателей: *выстрел*, *масштаб*, *машина* и т.п. Толкование последних, в частности, занимает 5–7 страниц убористого текста и создает таким образом оригинальный словарный прецедент: статья разрастается до научного эссе.

По характеру употребления терминов, кроме "русских" и "обрусевших" слов, здесь, конечно же, немало иностранных: *регель*, *ридерсы*, *флортимберсы*, *форт-фут* и мн. др. Отличительной же особенностью морской терминологии, зафиксированной А.С. Шишковым, является создание терминов на родной почве, с четко обозначенным словообразовательным рядом, как бы подсказывающим его смысл, например: *подпрыгивание* – "движение казенной части орудия кверху при выстреле..."; *подток*, или *вток* – "у копей, пик и пальников нижнее железное остроконечие, которым на военных судах паль-

ники втыкают в палубу”; *покрышка* – “свинцовый лист, которым покрывают запал для предохранения от мокроты и засорения...” (Морской словарь... Т. 3).

Другой забытый труд А.С. Шишкова в области лексикографии был издан после его смерти в 1853 году и назывался “Опыт словопроизводного словаря, содержащий в себе дерево, стоящее на корне МР. С означением 24 колен и 920 ветвей”. Он более приближен к лингвистическому исследованию, чем “Морской словарь”, хотя во многом еще опирался на авторскую интуицию. Но здесь А.С. Шишков четко обозначил методологические принципы своей работы, в которых чувствуется его стремление к строгому историческому подходу в объяснении явлений языка, например: “Слова всех языков показывают нам, что всякое из них имеет свое начало, то есть мысль, по которой оно так названо”; “Исследование языков возведет нас к первобытному языку и откроет нам, что как ни велика разность их, но она не от того происходит, чтоб каждый народ давал всякой вещи свое особое название...”; “Словарь должен состоять из первообразных слов, означаемых крупными буквами; все же происходящие от них ветви прописываются буквами несколько помельче и ставятся под ними”; “При отыскивании в слове первоначальной произведшей оное мысли надлежит смотреть, нет ли в нем выпуска, или вставки, или изменения букв, сокрывающих его происхождение. Например, слово *когда* очевидно чрез выпуск букв, сокращено из *коего года*, слово *тогда* из *того года*”.

Показательны словопроизводные ряды, приводимые А.С. Шишковым. Так, лексема *мир* с общим значением “тишина, спокойствие, согласие, дружба между государствами, народами или частно между людьми и животными...” объединяет 116 однокоренных слов, каждое из которых отличается оттенками семантики и стилистически, например:

“1. *Мирво́литель*, гл. ср. Из пристрастия к кому угождать, потакать, держать сторону его: *человек, любящий справедливость, никому не мирволит*.”

2. *Помирво́литель*, гл. ср. То же, что *мирволитель*, но единократное: *признаюсь, я хотел ему помирволить, но ты меня усовестил*.

3. *Помирíть*, гл. д. Стараться воюющих или ссорящихся между собою привести в согласие, иметь попечение о восстановлении мира между ними: *трудно мирить злобствующих друг на друга. Он их мирил, но не имел в том успеха*”.

Примечательно, что ученый, указывая на сходство в значении слов, отмечал их отличия в употреблении в контексте. Так, глаголы *помириться* и *примириться* из того же словопроизводного ядра *мир*, “хотя... одно и то же значат... однако ж иногда могут один другим быть заменяемы; например, говорится: *он просил с него сто рублей, но на половине помирился*. Здесь нельзя употребить глагола *прими-*

рится, который к одной только ссоре относится”. Этот оригинальный опыт во многом показателен, так как он находился на пути к научной лексикографии, расширяя ее границы от простого сбора и объяснения слов до их исторического толкования, до выяснения первичного значения, или, как замечательно сказал сам автор, “словарь сей открывает происхождение слов, показывает ход языка и, следовательно, ведет к совершенному познанию оного и пользе словесности”.

Хорошо известна славянская направленность высказываний А.С. Шишкова и его полемика с “карамзинистами”, резкие выступления против их новаторств, особенно в сфере лексических заимствований. В этих попытках он видел нарушение цепи исторического развития культурных основ русской жизни (подробнее: Горшков А.И. А.С. Шишков и его “Рассуждение о старом и новом слоге российского языка” (К 250-летию со дня рождения) // Русский язык в школе. 2004. № 1).

Филологическая деятельность выдающегося русского ученого и государственного деятеля А.С. Шишкова не раз становилась предметом описания и изучения, а взгляды и идеи его, как показало время, живы и плодотворны, хотя некогда трактовались как “консервативные”. Осталась без внимания другая сторона его таланта, где не менее ярко, а, может быть, и более рельефно проявились его лингвистические способности. До сих пор остается в тени исследователей-филологов его деятельность по государственному законодательству, где ученый проявил свою филологическую интуицию и языковые познания с присущей ему пунктуальностью и приверженностью традиции. Здесь мы наблюдаем отчасти и его предпочтения, и – что важно в данном случае – то, как он занимался “деловым” строительством языка.

Один такой эпизод касается замечаний А.С. Шишкова к “Проекту гражданского уложения” 1815 года:

“§ 1. Гражданское право принадлежит каждому лицу, носящему на себе имя российского подданного. Оно происходит от необходимой в теле общества связи, или взаимных отношений всех граждан между собою, и состоит в дозволении каждому из них во всяком деле прибегать к закону, когда кто имеет нужду в каких-либо его изречениях.

§ 2. Гражданские права разделяются на общие и частные.

§ 3. Общим правом пользуется, во всяком состоянии людей, каждый российский подданный.

§ 4. Частным правом, сверх общего, пользуется то состояние людей, которому права сии даны...” (Шишков А.С. Примечания на первую главу Проекта гражданского уложения // Записки, мнения и переписка адмирала А.С. Шишкова. Издание Н. Киселева и Ю. Самарина. Berlin, 1870. Т. II).

А.С. Шишков даже в таком небольшом фрагменте сделал акцент на словесной организации текста, указывая на исключительную роль

языкового оформления законов. Можно только поразиться, насколько грамотно и к месту он применил основы методологии сравнительно-исторического языкознания для решения сугубо практических задач. Законодательная деятельность, в его понимании, – соблюдение норм права и исторической преемственности, с другой стороны – объект естественного интереса к языку деловой культуры. Приведем еще два показательных абзаца:

“В статье из проекта недостаток определения прав гражданских объяснен в примечаниях. В статье генерал-прокурорской недостаток сей также оказывается; и при том кажется несвойственно сказать: *рассуждение составляет право*. В новоизложенной статье, для определения прав гражданских, соединены вместе три мысли: 1-я, что *гражданское право принадлежит каждому российскому подданному*. Сие неоспоримо, поелику главная сущность оного в том заключается. 2-я, что *оно проистекает от необходимости взаимных соотношений граждан между собою*. Сие также неоспоримо: ибо как скоро составилось какое-нибудь общество, то вместе с ним составятся и связи, или взаимные между членами оного соотношения, без которых оно существовать не может. Сии связи должны непременно быть кем-нибудь наблюдаемы в их ненарушимости. Отсюда проистекают *закон и право*. Наконец 3-я, – право без сомнения состоит в том, что закон (то есть соединенная в нем всего общества власть) позволяет каждому члену сего общества прибегать к нему во всяком деле (к лицу ли, или имуществу, или чему иному относящемуся), *когда он имеет нужду в его изречениях*. Я говорю *изречениях*, ибо никакое право не может быть правом без утверждения, без гласа, без изречения закона. – Прочие сличения можно сделать, поставя статьи против статей: тогда усмотрится, так ли говорится в одних, как в других, и в чем состоит разность.

Напоследок почитаю за долг донести еще нечто о словах. Ясное и чистое определение слов везде нужно, всего же более в законах. Слово получает значение свое от корня своего, подобно как ветвь дерева получает соки от корня того дерева, которому она принадлежит, а не от иного. Тщетно бы сосновую ветвь назвали мы кедровою; она не принесет иных плодов, кроме тех, которые ей свойственны. Подобно так и слово: если дастся ему значение от другого корня (что нередко случается при переводах слов с иностранных языков), то будет оно, данным ему насильно или несвойственно значением, противуречить естественному значению своему, проистекающему от его собственно-го корня. Таковое смешение понятий в слове распространяется уже и на всякую мысль, словом сим изъясляемую. Употребление примет его и утвердит, но разум не может сего признать и всегда отвергать будет. Я, преследуя принятию слов *гражданское право, гражданин*, употребляю их в том знаменовании, в каком они приняты; но делаю сие по на-

сильственной власти употребления, а не здравому рассудку; ибо он того не позволяет, как мы из следующего объяснения увидим. Мы французские слова (взятые в их язык с латинского и греческого), *cit  , citoyen, civil, politique*, приняли в наш язык – иные с переводом, другия без перевода, и стали за ними говорить: *droit civil*, гражданское право; *droit politique*, политическое право; *citoyen*, гражданин. Французские слова *civil* и *politique* произошли первое от латинского *civitas*, второе от греческого *polis*, которые оба, одно на латинском, а другое на греческом, значат *город*. Из сего явствует, что и французы, для изъяснения двух разных вещей, употребляют два слова, которые на двух разных языках одно и то же значат. Таковое в словах смешение понятий делает их пустозвучными и непостоянными, подвергает смысл их переменам, и производит частые об них спосры; ибо кто знает значение латинского *civitas* и греческого *polis*, того ум не соглашается в одном и том же находить разность. Но на наше слово *гражданский*, взятое с их слова *civil*, еще менее согласиться можно; ибо оно само собою не то говорит, что им сказать хотят. Латинское *civitas*, хотя и соответствует нашему *город*, но мысль, породившая латинское слово, весьма различна от мысли, породившей наше слово. Латинское *civitas* составлено из *coeo et vivo*, то есть *собираюсь и живу*; и так латинское *civitas*, по коренному смыслу своему, значит *сожительство, сообщество людей, живущих вместе*. Под таким понятием можно разуметь и город и целое царство, поелику люди живут вместе, как в городе, так и в целом царстве. Отсюда латинцы могли сказать *jus civile*; ибо слово *сожительство* позволяло им разуметь под оным жителей всего царства. Напротив того наше слово *город* заключает в себе совсем иную мысль: оно происходит от *горожу, строю, созидаю*, и следовательно, по коренному смыслу своему, значит *избранное, особое место, на котором люди сгородили, построили себе жилища*. Сие место не может представлять целого царства, в котором заключаются и города, и деревни, и поля, и леса, и степи. А потому и слово наше *гражданский* не выражает их слова *civil*, поелику мысль их слова относится к целому, а мысль нашего слова – к части. Латинцы имеют два слова к означению того, что мы называем городом, а имянно *civitas* и *urbs*; французы также два – *cit  * и *ville*; однако ж ни латинцы, ни французы не могут от слов своих *urbs* и *ville* произвести права, которые бы относились ко всем природным жителям земли; и ежели бы произвели, тогда бы их *jus urbis* или *drou de ville*, говорили то, что говорят наши слова: *гражданские права*, то есть принадлежащие одному *граду* или *городу*. Но как мы под словами *гражданские права* разумеем не *гражданские*, то есть не одному граду, но всему царству принадлежащие, то следовательно приказываем словам значить то, чего они отнюдь не значат. Таковые приказания в языке не могут иметь места: подобно как приказание, чтоб в треугольнике было меньше 180 градусов, не может

иметь места в математике. И так, хотя подобные вещи и укореняются употреблением, однако же, при издании вновь законов, мне кажется надлежало бы всякое несходное с здравым рассудком употребление слов переменить и поправить. Слово *civil* влечет мысль свою (как мы выше сего показали) от понятия *жить вместе*, а не от понятия *городить*, а потому для выражения его надлежит и в своем языке от подобного же понятия оное произвести. Наши слова, означающие всю вообще Российскую область, суть: *Россия, царство, государство, отечество, общество, народ, держава*, и проч. И так от сих или подобных слов (а не от слова *город*) должно произвести то, что соответствовало бы иностранному слову *civil*. Скажем *государственные*, или *общественные*, или *народные*, или *отечественные* права: всякое из сих слов будет приличнее и сходственнее с разумом, нежели *гражданские* права”.

Итак, можно заключить, что славянофильская позиция А.С. Шишкова в отстаивании национальных основ родной словесности оказала влияние и на законотворческую деятельность, где он неизменно придерживался тех же взглядов, что и в филологических дискуссиях. Этот пример, как нам кажется, показателен еще и потому, что А.С. Шишков – ученый и общественный деятель переходного периода рубежа XVIII и XIX веков, – принимал участие в “деловом” преобразовании государства, построении новых общественных отношений. Таким образом, можно предположить, что деловой язык в начале XIX века изучался не только ретроспективно, но и синхронически, а сами исследователи-филологи являлись создателями нового делового слога.

В нашем небольшом очерке мы приоткрыли лишь малую часть научного и общественного наследия А.С. Шишкова, которое имеет ярко выраженную филологическую направленность. Многогранная деятельность А.С. Шишкова – исключительное достояние нашей истории, которое во многом поучительно уже тем, что явило собой образец подлинного служения национальным ценностям и первойшей из них – родному языку.



Толковый словарь российских фамилий

© В. О. МАКСИМОВ,
директор Исследовательского центра
“История фамилии”

Алгебранстов. Редкая фамилия, указывающая на способности ученика к физико-математическим наукам. Факт присвоения этой фамилии упоминается, например, в Епархиальных ведомостях Тамбовской епархии в 1895 году.

Брындиков. Прозвище *Брындик* в прошлом имело несколько значений. В рязанских, тверских и владимирских говорах – это “щеголь”, “франт”; в тех же владимирских и рязанских еще и “торопыга”, “непоседливый”, “бойкий”; в смоленских – “гуляка”, “бродяга”. Бытовало оно и в белорусских говорах.

Линейцев. *Линейцами* в просторечии называли линейных казаков, т.е. поселенных на пограничной линии, откуда и возникло их название. В.И. Даль в своем Словаре уточнял, что на Урале *линейцами* назывались только те казаки, кто был “наряжен на линейную службу”. А на Кавказе название *линеец* относилось вообще ко всем терским казакам. Во времена войн линейцы, разумеется, служили в различных землях, так как принимали активное участие в боевых действиях. В публикациях XIX – начала XX века нередки упоминания о них. Например, в докладной записке, поданной в Самарскую городскую думу в 1877 году о поездке в действующую армию под город Пloeшти (Болгария), сообщается о вручении Самарского знамени болгарским ополченцам: “... войско уже стояло в ружье, как прискакал конвойный ли-

неец с письменным приказанием великого князя отложить церемонию до двух часов...". "Быстро двинулись вперед туркестанские стрелки и линейцы, выбивая из-за каждого дувана и каждой сакли засевших в них ургутцев" (Д. Логофет. В горах и на равнинах Бухары).

Молодожников. *Молодожниками* в старину в новгородских и, возможно, некоторых других северных русских говорах называли солодовников, т.е. торговцев солодом. Это название образовано от уже забытого древнего значения славянского слова *молод* – "солод". Например, в новгородских грамотах 2-й половины XVI века упоминаются: Кондрат Никифоров, *молодожник* из села "Онтонова"; Истома Самуилов, *молодожник* из "Онтонова из Молодожников"; и Матвей Ефимьев, *молодожник* "из Молодожников". Видимо, в этом селении, именуемом то Онтоновом, то Молодожниками, то обоими названиями одновременно, *молодожниками* были многие мужчины; потому и получило оно свое второе название.

Мустьяца, Мустьяц. Эти фамилии имеют молдавское происхождение. И, хотя в русском языке они изменили первоначальное звучание, в них легко угадывается молдавское прозвище *Мустьяцэ* – "Усач".

Панцырев. *Панцирями* (а в старину *панцирь* обычно записывали как *пансырь* или *панцырь*) называли вообще все виды защитных доспехов. "В липовом сундуке: пансырь мелетиской с мишенми... 32 пансыря простых и в том числе 4 колчюги, 6 рукавов пансырных", – сообщается в документе 1682 года. Существовало и мирское имя *Панцирь* (*Панцырь*, *Пансырь*). Не исключено, что его давали в качестве своеобразного оберега. Но *Панцирем* могли прозвать и человека, служившего в русской армии в тех войсках, где воины носили кольчугу или другие доспехи. Например, уже с XVI века известен дворянский род *Панцыревых*, владевших землями в Муромском уезде. Дворянское сословие в те времена было воинским: не от этого ли возникло прозвище родоначальника *Панцыревых*? Но при этом встречается фамилия *Панцырев* и в среде выпускников духовых семинарий XIX века.

Попсуев, Попсуй, Попсуйко, Попсуевич. *Попсуевы* – выходцы с русского юго-запада. Составители "Словаря русских народных говоров" отметили глагол *попсовать* в курских, орловских, тульских, калужских, брянских, донских и прочих южных и западных русских говорах со значением "испортить": *Все деревья попсовал, ветки обломал*. В начале XX века на Орловщине *Попсуем* называли плохого мастера. Это прозвище также можно было встретить в украинских и белорусских говорах, что подтверждают фамилии *Попсуй*, *Попсуйко* и *Попсуевич*, формы которых характерны для этих земель, и, конечно же, селения *Попсуево* и *Попсуевка*, сохранившиеся в Смоленской и Гомельской областях. В первой половине XIX века фамилия *Попсуев*

упоминалась в списках жителей села Солова, расположенного в окрестностях города Стародуба. А фамилия *Попсуй* сегодня встречается, например, в Полтавской области на Украине.

Потихошкин. Обладатели этой редкой фамилии – выходцы из Смоленской области. Но, возможно, это не единственный регион, где она встречается. В соседних новгородских говорах даже в середине XX века бытовало прозвище *Потихоша*, означавшее “робкий, медлительный человек, тихоня”.

Разагатов, Розагатов. “Корни” этих фамилий на северо-западе и севере России (от Карелии до Вологодской области). *Разагатом* вепсы называли подсеку, оставленную на второй год не спаленной и не очищенной (*подсека* – место, расчищенное под пашню). Вепсы (русские их называли *весью*, а позднее общим русским названием для прибалтийско-финских народов – *чудь*) в древности составляли значительную часть населения северо-западных и северных земель. Это название со временем было воспринято и русскими, поселившимися на территории между Ладожским, Онежским озерами и Белым морем. Но, как это обычно происходит с заимствованными словами, значение его несколько изменилось. Так стали называть вообще заброшенную подсеку, поросшую травой, мелколесьем или кустарником. Поэтому в настоящее время подобную фамилию могут носить как сами вепсы, так и их русские земляки.

Росолов, Расолов, Россолов, Розолов, Рассолов, Разолов. Существовало и мирское имя *Рассол*. Но в старину его записывали по-разному: *Рассол, Расол, Росол, Россол, Разсол* или *Розсол*. *Рассолом* в старину называли вообще любой продукт и напиток из квашеных овощей или ботвы. Домострой (XVI в.) предписывал: “А в осень... свеколной росол ставити...”. А вот меню “Столового обиходника Волоколамского Иосифа монастыря” 1648 года: “В трапезе хлебы мягкие половины, да капуста по блюдом, да расол красной”. Потому и в фамилиях это слово-имя сохранило различные написания. Например, в летописи 1631 года упоминается *Фока Росолов*, кровельный мастер. А в Реестре Войска Запорожского в 1649 году – *Дахно Росолов* зять, казак Домонтовской сотни Черкасского полка.

Селеменев, Селеменов. *Селемень* – в орловских говорах даже в XX веке – “толстяк, неловкий человек”. Здесь же, кстати, сохранилась и деревня Селеменево. А в Белгородской таможенной книге 1651–52 годов упоминается *Игнатка Селеменев*. Но, вероятно, встречалось это прозвище и в других говорах: деревня Селеменево существует и в Ярославской области.

Ставров. В XIX веке документально подтверждены случаи присвоения этой символической фамилии ученикам духовных семинарий.

Символической потому, что в ее основе лежит слово *ставрос*, которое в переводе с греческого языка означает “крест”. Существует еще причина популярности фамилии *Ставров*, связанная с другим явлением. В современных святцах имя *Ставр* отсутствует. Но в прошлом на 29 ноября (12 декабря по новому стилю) приходились именины святого мученика *Ставра*. В честь него многие века наши предки крестили своих детей. Например, *Ставром* звали новгородского сотника в первой четверти XII века. *Ставром* *Годиновичем* звали знаменитого героя древнерусских былин. А в грамоте начала XVII века, т.е. когда еще не могло быть фамилий, созданных в семинарии, записан *Федор Иванов сын Ставров*, помещик Владимирского уезда. Достоверных сведений о жизни святого Ставра не сохранилось, поэтому позднее упоминание о нем из церковного календаря было изъято. Но сохранилось в составе некоторых современных фамилий, например: *Ставро*, *Ставраков*, *Ставрович*, *Ставровский* и др.

Тубольцев, Тубальцев. *Тубольцем* на Украине называли коренного жителя какой-либо местности, а в южных русских говорах существовало прозвище *Тубалец* – “пролаз, пройдоха, бывалый человек”. От обеих основ могла быть образована как первая, так и вторая фамилия. Поэтому сегодня уже сложно сказать, кем был родоначальник каждой семьи *Тубольцевых* и *Тубальцевых*. Но о том, где бытовали эти прозвища, напоминают селения *Тубольцы*, сохранившиеся в Смоленской и Брянской областях. А в Реестре Войска Запорожского в 1649 году записаны казаки: *Иванец Туболец* (Миргородский полк) и его сын *Иван Тубольцов* (*Туболцов*).

Циренщиков, Циреньщиков. *Циреном* или *цреном* называли котел, большой металлический ящик, сковороду, использовавшиеся для выварки соли. Их изготовлением и ремонтом занимались *цренные мастера* или, как их еще называли, *циренщики*. К XVII–XVIII векам основная добыча соли была сосредоточена на Севере и в Сибири. Поэтому и фамилии, образованные от таких прозвищ, чаще встречаются в этих землях. В грамоте 1575 года сообщается, что некий воложжанин, приняв постриг, передал во владение Прилуцкого монастыря “... варницу с циреном и с желобы и с кострищи и с клеткою соляною...”. Интересно, что в качестве *циренщиков* упоминаются и сибирские служилые люди. Например, царской грамотой, присланной в город Березов в 1600 году, предписывалось “для варнишного и цренного дела... дати плотников и кузнецов, выбрав из стрельцов, сколько человек надобет...”. Таким образом, *Циренщико*вы и *Циреньщико*вы – потомки *цренного* или по-другому – *циренного мастера*, который мог быть как “гражданским”, так и служилым человеком.

Цишкевич. Эта фамилия может восходить как к церковному, так и к мирскому имени. В белорусских говорах имя *Тихон*, которое в переводе с древнегреческого означает “счастливым”, “удачливый”, произносится как *Цихан*, а народная форма этого имени *Тишка* (*Тишко*) – *Цишка* или *Цишко*. Потомки *Цишка* и получили фамилию *Цишкевичи*. Но нельзя исключать, что это прозвище может восходить и к славянской основе “тихий, спокойный”: такое имя или прозвище могли дать и новорожденному сыну, и взрослому человеку.

Шурупов. На первый взгляд может показаться, что эта фамилия была придумана сравнительно недавно. По Фасмеру, слово *шуруп* пришло в русский язык в XVIII веке через польский *śruba* из немецкого языка, где *schraube* – буквально означает “винт, болт”. Но в белорусских и украинских говорах оно, вероятно, “прижилось” значительно раньше, а именно во времена, когда эти земли входили в состав Речи Посполитой. А отсюда оно раньше проникло и в западные русские говоры. Но в каком качестве использовалось это именование по отношению к человеку? Оно могло быть и обычным мирским именем (существовали же имена *Гвоздь* или *Шило*), и прозвищем, например, весьма изворотливого человека.

В грамоте 1650 года записан конокрад по имени *Шуруп*, усманец (в те времена Усмань – селение в Воронежском уезде). И вот что интересно: из материалов его “дела” известно, что помощь в избежании наказания *Шурупу* оказали в воронежском селе Гвоздевка! А, между прочим, спустя 30 лет, в 1680 году, в этом же селе упоминаются братья *Шуруповы*. Быть может, и в 1650 году именно в этой Гвоздевке проживал близкий родственник того самого *Шурупа*? Ведь во многих семьях при выборе мирского имени новорожденному придерживались определенной системы, т.е. выбирали имена, следуя какой-либо традиции; например, давали имена, повторяющие названия рыб или зверей, или птиц, или же орудий труда. Так, может быть, общий предок наших *Шуруповых* по имени *Гвоздь* и был основателем этого селения, получившего название по его имени?

Продолжение следует

Желающие задать вопрос или предложить свои дополнения к материалам, опубликованным в этом разделе, могут воспользоваться адресом редакции – **119019, Москва, Г-19, Волхонка, 18/2**; электронной почтой – **dialog@famiii.ru** (письма отправлять с пометкой “Толковый словарь российских фамилий”) или посетить сайт Исследовательского Центра “История фамилии” – **www.famiii.ru**.

Топонимика

Микротопонимия – часть культурного ландшафта

© Т. А. СИДОРОВА,
кандидат филологических наук

Микротопонимы возникают в определенную историческую эпоху и тесно связаны с общественной жизнью, обычаями, культурой, языками народов, населявших ту или иную местность. Это определенный аспект видения мира, поэтому микротопонимы представляют собой региональный фрагмент разносторонней языковой картины мира. Попытаемся раскрыть ее на примере Архангельской области.

Совокупность микротопонимов и их связи, а также осознание и оценка их носителями языка понимается нами как микротопонимическая система. Существование ее, на наш взгляд, обусловлено близостью расположения микротопонимических объектов относительно пункта, обозначенного исходным топонимом; широкой известностью микротопонима в микрорайоне; хозяйственной или социальной значимостью в жизни местного населения. Данный принцип имеет и историко-этнографическое обоснование: этническая многослойность, куртовой тип поселения. Попутно отметим, что деление территории Архангельской области на микрорегионы является условным.

Сравнительный анализ микротопонимических систем показал, что каждая тематическая группа (по типу объекта номинации) имеет свои особенности, и это находит отражение как в структуре, так и в принципах номинации. Например, финно-угорская модель наименования (географический термин + признак) используется преимущественно для номинации озер, например: полукальки *Кыскозеро* (фин. *кыск* – “срединное”), *Пасизеро* (фин. *пасси* – “баран”), *Паскозеро* (вепс. *pastta* – “отпускать, выбрасывать”), *Сивозеро* (фин. *сив* – “глубокое”), *Янгозеро* (фин. *янг* – “болотное”), *Солозеро* (фин. *сол* – “остров”); *Охтозеро* (удм. *охт/ухт* – “русло реки”). Эта же модель в других микротопонимах встречается очень редко: *Шидручей* (саам. *сидт* – “зимняя стоянка”). Используется финно-угорская модель и в микротопонимах с русскими топоосновами: *Каргозеро* (севернорусск. *каргач* “заросшее травой место на озере”).

Кстати, в Холмогорском районе из заимствованных встречаются названия прибалтийско-финского происхождения (вепс., карельск.,

фин., эст. и др.), а в районе Нижней Тоймы – пермского (коми, удм.). Наименования ручьев, покосов, холмов – преимущественно русского происхождения, в том числе и диалектного: ручьи – *Чебулий* (диал. *чебулить* – “шуметь”), *Копанец* (*копани* – “место, на котором выкопан лес”), *Чарусов* (диал. *чаруса* – “тонкий травяной ковер на поверхности бездонного озера”), *Половинный*, *Мельничный*, *Овечий*, *Большой*, *Малый*, *Красный*, *Богулы* (диал. *богулы* – “острова на болоте”), *Карасово* (“непроточный”), *Бабий*, *Берёзовский*, *Белый*, *Тесовицкий*, *Крутой*, *Глиночный*, *Средний*, *Дикарёк*, *Захарова Смерть*, болота *Сухое* и *Погано*, поля *Малинное*, *Долгое*, озеро *Убогово* (диал. *убожной* – “опрятный, чистый”) и т.д.

Среди микротопонимов немало иноязычных и по форме и по содержанию: ручей *Ухвж* (удм. *ухт/охт* – “русло реки, борозда”, *важ/бж* – “исток, приток”), *Лобдус* (*Ловдуш*) озеро (карельск. *ламби* – “глухое лесное озеро”, *-ус/-ас* – “ручей”). В микротопонимах с заимствованными основами используются и русские формы: озера *Бакино* (перм. *бака* – “лягушка”), *Кярныш* (эст. *харг* – “бык”), луг *Качемский* (коми *качем* – название травы).

В основе микротопонимов лежат различные мотивы, например, **наименования, связывающие объект с человеком** (фамилия, имя владельца, социальная, национальная принадлежность, оценка): покосы *Миронихина Навина*, *Нелюбой*, *Миколин Лог*, *Васильевский Луг*, *Архипкова Полянка*, *Павловская Ляга*, *Афонькино Пастбище* и т.д.; **наименования, связанные со свойствами и признаками объекта** (форма, величина, рельеф, происхождение, время появления): ручьи *Мутной*, *Плесовик* (*плесо* – “загиб реки”, течение здесь быстрое, извилистый ручей с быстрым течением), болота *Сухое*, *Цыганская Шалга* (диал. *шалга* – “возвышенность”); *Большой Луг*, поле *Лягунья Полоса* (диал. *ляга* – “лужа, болото”), ручей *Средний* и т.д.; **наименования, отражающие отношение одного объекта к другому**: река *Моша* – озеро *Мошинское*, ручей *Паловик* – болото *Паловое*, мельница – ручей *Мельничий*, лес *Роца* – болото *Роцинское*, покос *Остров* – лес *Заостровье*, деревня *Алексина* – поле *Алексинское*, деревня *Плахино* – болото *Плахинское*; **наименования, отражающие несколько мотивов**: болото *Поганое* (признак объекта и отношение человека) озера *Малое Островистое*, *Большое Островистое* (размер и ландшафт), обрывы *Белая Слуда*, *Красная Слуда* (цвет глины и ландшафт, диал. *слуда* – “выход коренных пород”), гора *Красава* (признак и отношение человека), поле *Архипково Баянно* (принадлежность и ландшафт, *баянно* – балт.-слав. глосса *balinis* лит. “болотный”, *balynas* – “болотная местность”) и т.п.

В ряде названий отражены **назначения объектов** – холмы *Пивки* (место, где получают смолу), поляна *Крест* (там проходили обряды), *Жаровичная Ляга* (клюквенное болото), *Малинное Поле*, ручей *Гли-*

ночный (там добывают глину) и т.п.; **месторасположение объекта** – поле *Нижнее*, поле *Верхнее*, ручьи *Староречье* (на старом русле реки), *Церковный* (рядом расположена церковь), *Первый*, *Второй*, *Третий*, поле *Нижние Пожни* и т.п.; **события** – ручей *Захарова Смерть*, порог *Череп* (найлены черепа во время раскопок), ручей *Клетичный* (расположен на месте клетей – жилья чуди) и т.п.

Немало среди микропонимов **образных (метафорических и метонимических) наименований**: ручей *Дикарёк*, луга *Штаны*, *Рога*, холм *Пупиха*, покосы *Хавронья*, *Ребрицы*, *Носы*, *Сметанник* и др.

Ряды однокоренных наименований могут свидетельствовать о древних жителях края, например: мыс *Чудимский*, поле *Чуда*, урочище *Чушово*. Некоторые топонимы, давшие названия микрообъектам, уже исчезли, например посёлок *Черная Пазуха*, урочище *Черная Пазуха*, посёлок *Белая Пазуха* – урочище *Белая Пазуха* (сохранились только названия урочищ).

Сравнение принципов номинации топонимов и микропонимов показало архаичность последних. Так, одним из мотивов наименований является имя владельца. В топонимах этот принцип постепенно исчезает, например: деревни *Епифанов Наволок* (в прошлом) – *Наволоки* (сейчас), *Парфёновская* – *Низ*.

Следует отметить, что используются различные лексемы для обозначения одного и того же объекта. Так, для наименования болот в Няндомском районе употребляется географический термин *ляга* (диал. “*лужа*, болото и озерко в середине болота, омут”) – *Жаровичная Ляга*, *Павловская Ляга* и др., а в Холмогорском – *лужа*, *мох*, *болото* – *Телячий Мох*, *Гришкин Мох*, *Бабкино Болото*, *Лешеево Болото*, *Плахинская лужа*, *Большое Болото*, *Малое Болото*.

В наименованиях полей, покосов, лугов широко представлены как синонимы географические термины *лог*, *луг*, *поле*, *зачистка*, *полян-ка*, *баянно*; *полоса*; *навина*, *поляна* и др. Однако лишь в посёлке Гавриловская поляны называют *баянно*, и только в посёлке Килюга покосы именуются *логом*, например: *Архипково Баянно*, *Ефремушкино Баянно*, *Тарасов Лог*, *Миколин Лог*.

В микропониме могут просматриваться указания на связь географических объектов с реальной действительностью. Например, поле *Лягуныя Полоса* (*ляга* – “*лужа*, болото”), т.е. “поле на болотистой местности”, ручей *Пентос* (*пенус*, *пендус* – фин. “болото”), т.е. “ручей в болотистой местности”, ручей *Паловик*, поле *Пальё* (*пал* – “специально выжженный лес”), т.е. “ручей, находящийся на территории выжженного леса”, *Малофеевская Зачистка* (*чисть*, *чища* – “болото без кустарника”), поле *Высока Грива* (*грива* – “пологий длинный увал”) и т.п.

Микропонимия крупных сел и деревень характеризуется пестротой состава, но в ней четко выделяются два пласта: до- и послереволюционный. Старые названия характерны для природных объектов

(лугов, полей, речек, прудов, болот, лесов и т.д.), новые – носят объекты, созданные человеком (отдельные строения, сооружения, дороги, магазины и т.п.). Для микротопонимии Архангельской области (особенно старой) характерна эмоционально-экспрессивная окраска, например: *Лобач* (холм), *Мелкуха* (поле), *Деревеньки* (поле), *Колобушка* (поле) и т.д.

В микротопонимии отражено и разное восприятие объектов носителями языка, отчего и появляется вариативность (фонетическая, структурно-словообразовательная, морфологическая и т.д.). Так, деревня у поселка Березник (Устьянский район) местными жителями называется *Горылец*, а официально – *Горбылец* (расположена на двух холмах).

Географические термины, входящие в топонимику, зачастую имеют диалектное происхождение и отражают особенности местности. Можно выявить целые синонимические ряды таких терминов. Так, понятию “холм” соответствуют лексемы *горбыш*, *горбыль*, *взлобок*, *пригорок*, *сугорок*, *угор*, *горб*, *сельга* и др. Но каждая из них что-то конкретизирует, выделяет какие-то специфические черты объекта, например, *взлобок*, *взлобина* – “невысокое, крутоватое общее возвышение местности без близкого спуска”, а *бугор* и *холм* – “высшая точка негористой местности, может иметь спуск”.

Ландшафт Архангельской области характеризует большое количество диалектизмов, например: *веретя* – “возвышенное сухое место в лесу или на лугу”, *бугево* – “место, обдуваемое со всех сторон ветрами”, *грива* – “возвышенное место”, *ляга* – “впадина на лугу, чаще сырая”, *скаты* – “склоны ручья и холмов, чаще в поля”, *ползунка* – “небольшой овраг на высоком каменистом берегу реки” и т.д. Диалектизмы встречаются и в обозначениях лесных массивов, например: *волок* – “открытое место на краю леса”, *калтус* – “сырое заболоченное место в лесу или на лугу, заросшее ивняком”, *рада* – “сырое место в лесу”, *сурадок* – “небольшое болото в лесу” и т.д. Некоторые из них имеют финно-угорское происхождение, например: *ёрка* – “пожня на намытом рекой острове”, *ёрочка* – “заболоченный луг”, *кулига* – “участок пожни, упирающийся в кусты ниже течения реки”, *пур* – “наволоок, часть луга на низменном песчаном берегу”, *ворга* – “возвышенное место среди болот”, по воргам обычно проходили олени, *корга* – “скалестый островок или часть берега, упирающегося в море, реку”, *курья* – залив реки, иногда протока”, *луда* – “каменистые отмели у морского берега”, *майна* – “прорубь”, *салма* – “пролив”, *сахта* “низина, залитая водой” и т.д. Однако не следует преувеличивать влияние заимствованных терминов. В основе архангельской микротопонимии в большинстве своем – славянизмы. Полагаем, что и известное название *Пур-Наволоок* состоит из русских компонентов: *наволоок* – “мыс” и *пур* (слав. *пыр*) – “стык, поперечина”, т.е. *Поперечный Мыс. Поперечина* –

это место на развилке или скрещении дорог, слиянии ручьев, рек и т.п. Нашу версию названия подтверждают географические реалии.

Конечно, многие компоненты с течением времени изменяют свою семантику, фонетический облик, поэтому бывает трудно “угадать” первоначальный смысл: например, корень *-нег-* в древнерусский период имел значение “мокрый”, что нашло отражение в ряде топонимов и микротопонимов (например, *Бабонегово*), затем приобрел значение, зафиксированное в словах *нежный*, *нега* и др.

В состав микротопонимов термины могут входить как нарицательные номенклатурные имена или быть мотивирующими в структуре имен собственных, например: *Федина Павна*, *Запавничья Дорога* (*павна* – “трясина, топкое место на болоте”); *Прорва* (на острове Великом на р. Мезени *прорва* – “пролив, разделяющий остров на две части”); *Тимощельская курья* (*курья* – “залив реки, протока”); *Тоня*, участок левого берега реки Пезы (*тоня* – “удобный для промысла рыбы участок берега реки или моря”) и т.п.

Многие географические термины путем онимизации переходят в микротопонимы: болото в *Болото* (поле у деревни Майлахта), гора в *Горка* (поле у деревни Качикова Горка), горб в *Горбы* (поле у деревни Зехнова), шалга (возвышенность) – холм *Шалга* (село Н. Тойма), слуда (выход коренных пород) – обрыв *Слуда* (с. Н. Тойма) и т.д. Географические термины могут использоваться для наименования не “своих” объектов, например: угоры *Городище*, *Городок* (с. Н. Тойма), луга *Роща*, *Ручья* (с. Н. Тойма), покос *Улица*, поле *Высока Грива* (п. Кидюга) и др. В процессе использования термина может происходить расширение его значений: *баянно* (болотистое место) – “полянка в болотистом месте”, “вообще полянка”; *рыбник* (место, где много рыбы) – “место, где много всего, в том числе ягод и грибов”; *остров* (часть суши, окруженная водой), *полуостров* – “участок леса”, “полянка в лесу”, “поляна” и т.д.

Таким образом, в системе микротопонимов отражается культурный ландшафт Архангельской области. Микротопонимы позволяют нам проникнуть в мир наших предков и представить себе их видение мира, глубже познать их культуру, быт, обычаи.

Архангельск



О том, когда на улице дрязга,
нудьга и неженатый губан

© Е. В. КУЗНЕЦОВА

“Важней всего погода в доме...”, – поется в популярной эстрадной песне, и все мы прекрасно понимаем, что речь идет об отношениях людей. Эта метафора стала привычной для нас. В русском языке закрепилось немало слов и выражений с метафорическими значениями, называющих и погодные явления, и “явления” из жизни человека. Так, *хмурым* мы именуем мрачного, угрюмого человека и пасмурный, сумрачный день. Да и прилагательное *пасмурный* тоже универсально в этом смысле. *Холодный*, сдержанный человек наверняка похож на один из холодных зимних дней. А уж если дома *мечут громы и молнии*, то чувствуешь себя совсем неуютно, как в поле во время грозы, и понимаешь, что *погода в доме испортилась*.

Таких примеров в русском литературном языке множество, они общеизвестны и закреплены в словарях, но подобные слова и выражения бытуют и в русских говорах. В них ярко проявились народная смекалка и наблюдательность, например, *лохматый* – название первого снега, *пособник* – попутный ветер, а *противник* – встречный.

Исследуя метеорологическую лексику донских говоров (территория Волгоградской и Ростовской областей), мы отобрали лишь те слова, в основе значения которых лежат сравнения с человеком, его чертами характера, настроением, внешним видом и даже семейным положением.

Многие исследователи диалектов отмечают, что наиболее ярко языковое творчество сельских жителей (в сфере словообразования и семантики) проявляется прежде всего в словах, содержащих отрицательную оценку, особенно если это касается характера человека, его внешнего вида и пр. Плохая погода так же, как и отрицательные че-

ловеческие качества, чаще “способствует” языковому творчеству, например: *дура* – сильная метель, буран; *тварь* – мокрый снег; *нудьга* – сырая, промозглая погода и др.

Рассмотренные метеорологические народные термины условно можно разделить на две группы по параметру сравнения с человеком. В основе метафорического значения первых лежит сравнение с качествами характера человека, его настроением, межличностными отношениями: *губан неженатый* – ветер, *дрязга* – мокрый снег с дождем, *дура* – сильная метель, буран, *нудьга* – непогода, мгла, *пособник* – попутный ветер, *противник* – встречный ветер, *тварь* – мокрый снег.

Значение вторых основано на сравнении с внешним видом человека: *голощёк* – гололедица, *лохматый* – первый снег, *плешина* – голое, не покрытое снегом место.

Данные этимологических словарей косвенно подтверждают тот факт, что диалектные “метеорологические” значения у большинства рассматриваемых слов развились позже, чем первичные, относящиеся к человеку (или другим живым существам). Так, М. Фасмер отмечал, что в древнерусском и старославянском языках слово *тварь* имело значение “создание, лицо, творение” (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1964–1973. Т. I–IV), а в словаре Н.М. Шанского и др. говорится о том, что бранное значение у слова *тварь* является собственно русским и возникло позже в результате лексико-семантического способа словообразования (Шанский Н.М., Иванов В.В., Шанская Т.В. Краткий этимологический словарь русского языка. М., 1975). А уже, вероятно, на основе последнего (бранного) значения развилось “метеорологическое”, которое тоже отчасти является бранным, потому что мокрый снег – это не очень приятное явление. Э.М. Мурзаев отмечал у слова *тварь* значения “мокрый крупный снег, выпавший в большом количестве”, а также “непогода, буря с грозой, метель, вьюга” (Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов. М., 1984).

По тому же принципу (от качества и черты человека к названию метеорологических явлений), вероятно, шло развитие значений и многих других слов. *Дура* – сильная метель, буран (ср. *дурной* в значении “плохой, негодный, дикий”, *дурной нрав*; Э.М. Мурзаев в своем словаре упоминал форму *дуры* – “непроходимые места”).

Пособник – попутный ветер, от глагола *пособить* с исконным значением “помочь, поддержать”, который сохранился только в русском просторечии. В литературном языке закрепилось значение с отрицательной эмоциональной окраской *пособник* – “сообщник, соучастник” (Словарь русского языка. В 4 т. М., 1999. Т. IV. Далее – МАС). Антонимичное значение имеет лексема *противник* – “встречный ветер” (мешающий движению). Этимологические данные указывают на

общеславянское происхождение наречия *против* (от праслав. *protivъ) и его первичное пространственное значение (Фасмер. Указ. соч.).

Нудьга – “непогода, мгла”; *нуда* – “принуждение, плохое житье”; украинское *нуда* – “скука, неудовольствие, мұ́ка”; белорусское *нуда* – “нужда, нечистоплотность”; чешское, польское, словацкое *nuda* – “скука”, а также древнерусское *нудити* “принуждать” (Фасмер. Указ. соч.; Шанский и др. Указ. соч.). В.И. Даль также приводил формы *нұ́да*, *нудга́*, *нудотá* с “антропологическим” значением “дурнота, тошнота, тоска” (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 2000. Т. IV).

Голощёк – “гололедица” (сравнение с внешностью человека: выбритые, “голые” щеки и “голый” лед без снега). Этимологических данных об этом слове нет, однако В.И. Даль поместил лексему *голощёк* со значением “чистый тонкий лед без снега” в словарную статью с заглавным словом *голый*, куда вошла также форма *голинá*. В донских говорах бытует ряд диалектизмов с корнем (или одним из корней – в сложных словах) -гол- в значении “без снега / без растительности”: *голы́зина*, *голы́бина*, *глы́зина*, *го́лодь*, *гололи́ть*, *гололё́дь*, *гололё́дица*, *гололё́дые*, *гололё́дь*. Э.М. Мурзаев фиксировал формы *голец*, *голея*, *голья*, *галья*, *гола*, *голик*, *голина*, *голомен* с подобными значениями.

Субстантивированное прилагательное *лохматый* (первый снег) сохраняет яркий, живой образ пушистого, падающего хлопьями снега, похожего на всклокоченные пушистые вихры: “Ну, полетел лохматый!” (хутор Пронин Серафимовичского р-на Волгоградской обл.).

А вот диалектизм *плешина* “голое, не покрытое снегом место” вызывает совершенно противоположные ассоциации ... В литературном языке *плешина*, наряду со значением “место без шерсти, без волос”, имеет также метафорическое значение “место без растительности” (МАС. Т. III). Лексемы *плешина*, *плешивина* зафиксированы в словаре Э.М. Мурзаева со значением “место без растительности, проталина”. Следовательно, значение “место без снега” является результатом народного творчества. По своему происхождению лексема *плешь* общеславянская (ср. *plěxъ – лысый), с исконно “антропологическим” значением, перешедшим во все славянские языки. На базе этого первичного развились другие значения рассматриваемого корня вкупе со словообразовательными изменениями.

В отличие от уже рассмотренных слов, диалектизм *дря́зга* (мокрый снег с дождем) имел (судя по данным этимологических словарей) исторически первичное значение, не связанное с характером или внешним видом человека. Так, М. Фасмер указывал на родство современной формы *дря́зги* с др.-инд. *dhṛánati* – “звучит”, лат.-кельт. *drēn-sā* – “о крике лебедей”, ср.-ирл. *drēsacht* – “треск, шум”. Н.М. Шанский настаивает на собственном русском происхождении слова *дря́зги* от *дря́з* – “хлам, дрянь”, сохранившегося в диалектах.

Действительно, у В.И. Даля зафиксированы слово *дрягз* в значении “сор, хлам, дрянь” и оттенок значения “сплетни, пересуды, пустые ссоры”, здесь же: *дрягза* – песчаная жидкая грязь; мокрый снег сверху. В словаре Э.М. Мурзаева даны формы: *дрягза* – “мокрый снег”, “дождь со снегом”; *передряга* “плохая погода, холодная, попеременно с дождем”.

В результате таких семантических превращений мы имеем в литературном языке лексему *дрягзи* – мелкие ссоры, а в просторечии: *дрягз* (устар.) – “мусор, отбросы”; *дрызгать* – “пачкать, грязнить жидким, брызгаться” (МАС. Т. I). “Метеорологическое” же значение “мокрый снег” лексема *дрягза* имеет не только в донских говорах, но и в говорах Тверской области.

Поистине настоящим шедевром народного языкового творчества является сочетание *губан неженатый* со значением “ветер”. Не каждый, услышав такое название, догадается о его мотивировке. Кто такой *губан*? И почему *неженатый*? И вообще, при чем здесь ветер?

Ответы на эти вопросы можно найти в словарях. Так, “Словарь русских народных говоров” (СРНГ), ссылаясь на Словарь В.И. Даля 1912 года издания, фиксирует сочетание *холостой ветер* – “дующий несколько суток подряд без перерыва” (СРНГ. Вып. 5). У Мурзаева – *женатый ветер* – “затишающийся на ночь”. Значит, если ветер женат, ночью он не дует, успокаивается, а вот *холостой гуляет* и день, и ночь. На вопрос о том, кто такой *губан*, снова помогает ответить В.И. Даль. Он отмечал, что слово *губан* (первично – человек с большими губами) может употребляться также со значением “тот, кто обижается, дует губы” (Даль. Т. I).

Так становится ясным, что изначально *губан неженатый* – это ветер суровый (так как обиженный), и круглые сутки он дует, потому что и днем, и ночью он одинок (видимо, из-за того, что холост). Позже так стали называть просто ветер. Остается без ответа вопрос: он неженат, потому что всегда дует губы, или дует губы, потому что никак не найдет себе спутницу жизни? Но таких сложных вопросов метеорология не касается. Это уже сфера “погоды в доме”.

Волгоград



О народных приметах в поэзии А.С. Пушкина

© В. Г. ДОЛГУШЕВ,
кандидат филологических наук

Все мы хорошо помним строки из пятой главы романа А.С. Пушкина “Евгений Онегин”:

Татьяна верила преданьям
Простонародной старины,
И снам, и карточным гаданьям,
И предсказаниям луны.
Ее тревожили приметы;
Таинственно ей все предметы
Провозглашали что-нибудь,
Предчувствия теснили грудь.

Дальше следует перечисление примет, в которые верила героиня романа: кот моет лапкой рот, падение звезды с неба, встреча с монахом, зайцем, луна с левой стороны. Исследователи творчества А.С. Пушки-

на отмечали, что та особая роль, которую играли всевозможные поверья, гадания в жизни Татьяны, говорит о близости ее поэтической русской души к народу, его понятиям и представлениям о жизни.

Верил в народные приметы, как известно, и сам поэт. Его отличал, как отмечает Ю.М. Лотман, “напряженный интерес к приметам, обрядам, гаданиям, которые для Пушкина, наряду с народной поэзией, характеризуют склад народной души” (Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина “Евгений Онегин”. Комментарий. Л., 1983. С. 261).

Кроме того, как Пушкина, так и Лермонтова всегда интересовала роль случайности, судьбы, рока в жизни человека. Вспомним хотя бы “Пиковую даму” Пушкина и “Фаталиста” Лермонтова из романа “Герой нашего времени”. В сознании человека двадцатых – сороковых годов XIX-го столетия причудливо переплетались просвещенность и суеверие. Такое переплетение шло, по мнению Ю.М. Лотмана, от “вольнодумцев XVIII в.: именно отказ от идей божественного промысла выдвигал на первый план значение Случая, а приметы воспринимались как результат вековых наблюдений над протеканием случайных процессов...” (Лотман Ю.М. Указ. соч. С. 261).

Пушкин, высоко ценивший фольклор и всю жизнь собиравший песни, сказки, несомненно, интересовался поверьями и гаданиями как частью традиционной народной культуры, уходящей корнями в толщу веков.

Вернемся к процитированным выше строчкам из “Евгения Онегина”. Если “снам и карточным гаданьям” в творчестве А.С. Пушкина литературоведами уделяется много внимания (Чистова И.С. К статье С.А. Соболевского “Таинственные приметы в жизни Пушкина” // Легенды и мифы о Пушкине. СПб., 1994; Лотман Ю.М. “Пиковая дама” и тема карт и карточной игры в русской литературе начала XIX века // Лотман Ю.М. Пушкин. СПб., 1995), то о народных приметах говорится вскользь, в частности, ничего – о “предсказаниях луны”. Вот что пишет по поводу этой приметы известный в прошлом этнограф М. Забелин в своей книге “Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия” (М., 1880): “Кто увидит новую луну с правой стороны, тот, по старым русским поверьям, будет в течение месяца получать доход, прямо – ни то, ни се, а слева – расход” (С. 270–271).

Эти наблюдения убедительно подтверждены на лингвогеографическом материале Н.И. Толстым, который писал о том, что славяне связывали понятия *правая рука, правая сторона* – с понятием “хороший, справедливый, прямой, добрый”, а *левая рука, левая сторона, левое колено* – с понятием “скверный, несправедливый, кривой, злой” (Толстой Н.И. Из географии славянских слов. 3. Правый – левый // Толстой Н.И. Избранные труды. Том I. Славянская лексикология и семасиология. М., 1997).

Таким образом, по поверьям славян, левая сторона ассоциируется со всем плохим, правая – со всем хорошим. Именно поэтому Татьяна,

“увидя молодой двурогий лик луны на небе с левой стороны”, дрожала и бледнела.

Романтическое мирозерцание, рассматривавшее приметы как своего рода инструмент познания человеческой души, ее тайн и загадок, проявляется также в одном из пушкинских стихотворений, обыгрывавшем это же самое древнее славянское поверье, – “Приметы” (1829):

Я ехал к вам: живые сны
За мной вились толпой игривой,
И месяц с правой стороны
Сопровождал мой бег ретивый.

Я ехал прочь: иные сны...
Душе влюбленной грустно было;
И месяц с левой стороны
Сопровождал меня уныло.

Мечтанью вечному в тиши
Так предаемся мы, поэты;
Так суеверные приметы
Согласны с чувствами души.

Первая и вторая части этого стихотворения построены на антитезе, которая выражается прежде всего противопоставлением эпитетов. В одном ряду – *живые, игривой, ретивый, правой*. В другом – *иные, влюбленной, грустно, левой*. И центральное место в раскрытии душевного состояния автора играют именно прилагательные *правый – левый*.

Народные приметы в поэзии А.С. Пушкина многофункциональны: они выступают как средство характеристики главной героини романа “Евгений Онегин” Татьяны Лариной и как способ выражения душевных переживаний самого поэта.

Киров

“Бояре, а мы к вам пришли...”

© О. Г. ОСТАПЕНКО

Ко времени распада родоплеменных союзов у славян в VI–IX веках историки относят и появление социально-классовой группы бояр. В X–XI веках бояре делились на две категории: *княжеские* и *земские* – потомки родоплеменной знати.

В “Историко-этимологическом словаре русского языка” П.Я. Черных в слове *боярин* вместе со старославянской формой *болярин* отдал предпочтение «мнению Корша (ИОРЯС, т. XI, кн. 1, с. 278–279), развитое Маловым (Изв. АН ОЛЯ, т. V, в. 2, с. 138). По Малову, др.-рус. **боярин** (из * *бояръ* с суф. -ин-ъ) восходит к др.-тюрк. (диал. зап.-тюрк. или булгаро-тюрк.) *boï äg – “богатый, знатный муж (человек)” при общетюрк. baï “богатый” + äg “муж”, “мужчина”, “богатырь”, “герой» (Черных П.Я. Историко-этимологический словарь русского языка. М., 1994. Т. I).

В современных тюркских языках такое сложное слово отсутствует. Впрочем, С.Е. Малов отмечал еще слово *пайар* “богатый” (причастие от глагола *пай(ы)* “богатеть”) в языке желтых уйгуров, проживающих в провинции Ганьсу Северного Китая, которых он дважды посещал: в 1909–1911 и 1913–1914 годах (Малов С.Е. Язык желтых уйгуров. Словарь и грамматика. Алма-Ата, 1957). Вероятнее всего, начальное *б* подверглось оглушению, поэтому современное слово звучит как *пайар*.

“Словарь русского языка” в 4-х томах (под ред. А.П. Евгеньевой. М., 1981. Т. I) определяет термин *боярин* следующим образом: “Высшее (жалованное, а позднее наследственное) звание в Московской Руси, а также лицо, носившее это звание; крупный землевладелец, представитель высшего слоя феодалов в древней Руси и в Московском государстве”. Так дело обстояло в ранние периоды истории русского языка, до XVII века включительно.

Больше всего значений, сохранившихся в письменных источниках, слово *боярин* получает в Московском государстве, так как класс бояр приобретает наибольшее влияние в общественно-политической жизни России того времени. “Словарь русского языка XI–XVII вв.” отмечает несколько лексических значений слова *боярин*. Наиболее древним является “старший дружинник, советник князя”. В письменных памятниках это значение фиксируется начиная с XI века, хотя есть

предположение, что в употребление это слово вошло в более раннее время (еще в дописьменную эпоху). Позднее, в XIV веке, *боярами* уже называют и феодалов-землевладельцев. И только в XV–XVII веках основным значением становится “высший служебный чин в Русском государстве XV–XVII вв., а также лицо, пожалованное этим чином”.

В это время в Древней Руси возникает большое количество мелких боярских разрядов, каждый из которых занимал свою ступень в социальной иерархии общества. В связи с этим слово *боярин* получает еще определения, например, *боярин большой* (великий) – представитель высшего слоя боярства; *боярин малый* (мелкий) – представитель рядового боярства.

В XVII веке при царе состоял так называемый *ближний* или *комнатный боярин* – особо доверенное лицо из среды бояр, имеющее право доступа в царские покои.

Существовал еще и *введенный боярин* – в его обязанности входило ведение судебных дел от лица князя. Одним из первых боярских чинов был *конюший боярин*: “Конюшенной двор; а в нем приказ (...) А кто бывает конюшим, и тот первой боярин чином и честию; и когда у царя после его смерти не останется наследия (...) быть царем конюшему...” (Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1975. Вып. 1).

Однако боярский чин в русских текстах обозначал не только вельмож. Боярами в письменных памятниках, связанных с Западной Европой, также называли знатных и богатых сановников при дворе западноевропейских государей, хотя представители знати в Западной Европе, которых русские авторы того времени называли боярами, отличались от русских бояр.

Европейцы, путешествовавшие по России XVI–XVII веков и жившие в ней какое-то время, не могли не упоминать в своих записях о русских боярах. Одним из ранних европейских путешественников по России был Сигизмунд Герберштейн – австрийский дипломат, знавший русский язык. Он дважды посещал Россию в 1517 и 1526 годах и собирал всевозможные сведения о ней – от обычаев и быта до политики и экономики.

С. Герберштейн, описывая различные социальные слои русского общества, ввел в латинское издание своей книги “Записки о Московии” такой экзотизм, как *бояре*. Позднее эта книга была переведена на другие европейские языки, в которые также вошло слово *боярин*. Говоря о боярах, С. Герберштейн в “Записках о Московии” (М., 1988) отмечал исключительно высокое их положение при царском дворе конца XVI–XVII веков и относил их к привилегированному сословию: “Как бы ни был беден знатный человек (*боярин*) [*Boyaren*], он все же считает для себя позором и бесчестьем работать собственными руками”.

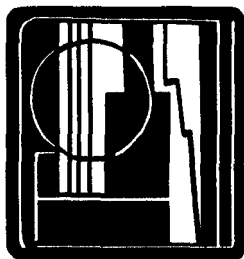
Влияние С. Герберштейна сказалось и на других европейских путешественниках, посещавших Россию. В конце XVI века свои характе-

ристики боярам дал знаменитый английский дипломат Дж. Флетчер, побывавший в России в 1588–1589 годах, и описавший свои наблюдения в книге “О Государстве Русском” (Of the Russe Common Wealth): “Русские цари назначают советниками некоторых лиц из знатного дворянства (Nobilitie) скорее для почести, нежели для пользы государственных дел. Они именуются просто *боярами* (Boiarens) и могут называться советниками в общем смысле, ибо на общий совет их приглашают весьма редко или никогда. Принадлежащие же на самом деле собственному и тайному совету царя (именно те, которые ежедневно находятся при нем для совещания по делам государства) имеют добавление к титулу Думный и называются *думными боярами* (Dumnoy boiarens...)” (Флетчер Дж. О Государстве Русском. СПб., 1911).

Много времени прошло с тех пор, как из повседневной речи ушли такие слова, как *боярин*, *бояре*, но все же окончательно они не забыты. Благодаря фольклорным сочинениям и работам исследователей русского языка до наших дней дошли старинные пословицы и поговорки, которые рисуют нам образ боярина XVI–XVII веков. *Боярин и в рубище не брат; Такой сякой боярин, а все не мужик; Всяк боярин свою милость хвалит; С боярами знаться – ума набираться (греха не обобраться)* (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка).

Последнее и практически полузабытое сегодня значение слова *боярин* – это гость на свадьбе. Как правило, это слово употреблялось во множественном числе: *бояре* – все гости на свадьбе. Однако среди них выделяли *старшего* или *большого боярина* – шафера у жениха и *малого боярина* (*бояр*) – подружек невесты. Такое значение слова *боярин* в некоторых областях России еще сохранилось в свадебных обрядовых песнях. Кроме этого, слово *бояре* можно встретить в детской игре “Бояре, а мы к вам пришли...”, которая до недавнего времени сохранялась в сельской местности Владимирской и Московской областей.

Орехово-Зуево,
Московская обл.



Железный занавес и холодная война

© А. Н. ШУСТОВ

Когда-то эти словосочетания не сходили с газетно-журнальных страниц, теле- и радиоэфира. Но политическая ситуация в мире изменилась, и указанные слитные термины постепенно отошли на задний план. Вместе с тем периодически в прессе встречаются реплики, касающиеся времени появления этих словосочетаний на свет и называются их авторы (в первую очередь У. Черчилль) и т.д. И как часто бывает в подобных случаях, новые “звонари” в спешке забывают посмотреть в “святцы”...

А между тем, *железный занавес* родился в театральном мире. В старину освещение сцены, как известно, осуществлялось с помощью свечей или масляных плосек. От открытого огня, естественно, часто воспламенялись матерчатые, картонные или деревянные декорации. Огонь со сцены перекидывался в зрительный зал со всеми вытекающими отсюда трагическими последствиями. Тогда-то и была предложена завеса из металла, чтобы отсекал пожар от партера. Впервые она была устроена во Франции в конце XVIII века. Значительно позже название такого занавеса стало использоваться не только в театре, но и в несколько “расширенном” значении: “После большевистского переворота разумные жильцы того дома, где я жил, (...) соорудили в складчину железный занавес для ворот, чтобы можно было, заперев ворота, замкнуться, как в крепости” (К. Бальмонт. *Белая невеста*. 1921); парадная лестница “закрыта железным занавесом (не метафорическим, а реальным) и охраняется суровыми мужчинами с автоматами наперевес” (Л. Агеева. “Петербург меня победил...”. 2003).

В русском языке этот образ приобрел метафорический смысл вскоре после победы Октябрьской революции. В “Апокалипсисе нашего времени” (1918 г.) В.В. Розанов писал: “С лязгом, скрипом, виз-

гом опускается над Русскою Историею железный занавес. – Представление окончилось”. Из приведенных примеров еще не следует, что речь идет именно о (само)изоляции России. Просто “занавес” подобно крышке гроба отсекает всё прошлое. Ничего не осталось – лишь апокалипсис!

Практически в то же время З.Н. Гиппиус писала в очерке о Розанове “Задумчивый странник”: “Мир духовенства был для нас новый, неведомый мир. Мы смеялись: ведь Невский, у Николаевского [ныне: Московского. – А.Ш.] вокзала, разделен железным занавесом. Что там, за ним, на пути к лавре? (...) Надо постараться поднять железный занавес”. Этот пример уже ближе к интересующей нас политической метафоре, у которой нашелся очень далекий предшественник.

Еще в XVII веке европейцы считали, что варварская, “полудикая” Россия живет за какой-то *завесой*. И Петр I не только “прорубил окно” в Европу, он “должен был (...) разорвать завесу, которая скрывала от нас успехи разума человеческого” (Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Май 1790 г.).

Октябрьский переворот 1917 года и Гражданская война в России раскололи мир на два лагеря. Призрак мировой революции, о которой твердили большевики, пугал Запад, и там заговорили об изоляции от революционной России. Глава французского правительства Ж. Клемансо заявил в 1919 году: “Мы желаем поставить вокруг большевизма железный занавес, чтобы не дать разрушить цивилизованную Европу” (цит. по: Душенко К.В. Словарь современных цитат. М., 1997). Уже два года спустя после Розанова английская публицистка в книге о России назвала ее “страной за железным занавесом” (Источник. 1998. № 1).

Как видим, современное политическое значение метафоры пошло не от Черчилля и не от Розанова, как иногда можно прочесть. На русском языке этот термин громко “прозвучал” в 1930 году, когда была опубликована статья Л.В. Никулина под характерным заглавием – “Железный занавес”, в которой он объяснил смысл образа как попытку Запада защититься от советского влияния: “... буржуазия пытается опустить железный занавес между СССР и Западом, чтобы не дать распространиться коммунизму” (Лит. газета. 1930. 13 янв.).

До Второй мировой войны метафора уже была достаточно хорошо известна в мире, хотя и не стала еще расхожим штампом (клише). Ее использовали не только политики или писатели, но и “обычные” люди. Так, в частном письме (от 12 ноября 1943 г.) автор высказал предположение о послевоенном устройстве: “... мир, наверное, останется разделенным, но будет иным. Рухнут железные занавесы, китайские стены” (Звезда. 2003. № 6).

Советский Союз с его идеологией не давал покоя Западу. Не кто иной, как Геббельс “пророчествовал” в статье “2000-й год” (февр.

1945 г.), что в случае победы СССР над Европой “опустился бы железный занавес” (цит. по: Черняк Е.Б. Жандармы истории. М., 1969). Видимо, других забот у этого монстра за два месяца до капитуляции Германии и самоубийства не было. Некоторые публицисты полагают, что идею *железного занавеса* У. Черчилль заимствовал у Геббельса. Во всяком случае его письма новому президенту США Г. Трумэну написаны летом 1945 года в таком же точно ключе: “Железный занавес опускается над их [русским. – А.Ш.] фронтом” (Черчилль У. Вторая мировая война. М., 1991. Т. 5–6. Кн. 3). Этот образ Черчилль вскоре повторил в беседе с советским послом в Лондоне (Источник. 1998. № 1). Мнение о геббельсовском влиянии вряд ли обоснованно, поскольку метафора была известна в английском языке еще с начала XIX века.

Письма Черчилля Трумэну, естественно, были не для огласки. Но вот 5 марта 1946 года в городе Фултоне (США) бывший премьер-министр выступил перед американскими студентами со знаменитой речью “Мускулы мира”, в которой вновь использовал полюбившуюся ему метафору: “От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике на континент опустился железный занавес. (...) По нашу сторону железного занавеса, разделившего надвое всю Европу, тоже немало причин для беспокойства”.

До войны словосочетание воспринималось скорее как некая “литературщина” и политической остроты в нем почти не ощущалось. Даже хорошо осведомленный И. Эренбург признался, что о железном занавесе он впервые прочел лишь в изложении речи Черчилля. После Черчилля, “реанимировавшего” старый образ, одним из первых на русском языке употребил эту метафору А. Жданов в позорно-знаменитом докладе о ленинградских журналах (август 1946 г.): “Мы живем за железным занавесом”.

Советские и зарубежные авторы писали о железном занавесе как-то безлично, не указывая, кто же его опустил и кому он был нужен. Нынешние публицисты, в основном из “диссидентов”, в самоизоляции упрекают СССР. Но исторически это неверно: первым начал “закрывать” Запад. Советский Союз стал активно “защищаться” лишь в период наибольшей активности противника в годы *холодной войны*. Английский медицинский журнал как-то пожаловался читателям, что советские медики скрывают свои секреты за железным занавесом. Информация оказалась очередной уткой, и читатель обратился в редакцию своего журнала с вопросом: “Кого же следует обвинять в железном занавесе – нас [англичан. – А.Ш.] или русских? (Лит. газета. 1948. 4 фев.). Объективно говоря, такая взаимоизоляция была необходима обеим сторонам.

Черчилль, как мы показали, не был “изобретателем” метафоры, но он невольно стал ее “пропагандистом”, поскольку именно после

его фултонской речи *железный занавес* превратился в расхожий политический термин, стал символом целой эпохи международных отношений. Эта его речь фактически дала старт *холодной войне*.

Железный занавес – подлинная метафора: ведь изначально так назывался реальный предмет. А *холодная война*, строго говоря, не метафора, а оксиморон, поскольку новое понятие образовано из контрастных по смыслу, несочетаемых слов (ср.: *живой труп, холодный огонь, горячий снег* и т.п.).

По мнению К.В. Душенко, этот термин (*cold war*) родился в США в начале 1947 года. Его предложил публицист Х. Суоп. Свою широкую известность он приобрел благодаря книге американского журналиста У. Липпмана “Холодная война. О внешней политике США”, вышедшей в свет в том же 1947 году (Душенко К.В. Указ. соч.). Однако сравнительно недавно промелькнуло сообщение о том, что это словосочетание впервые употребил известный английский писатель Дж. Оруэлл в газете “Трибюн” еще в 1945 году (Москва. 1999. № 9). А коли это так, то Оруэлла и следует считать его изобретателем.

Холодная война началась сразу после окончания Второй мировой и распада антифашистской коалиции. Американский термин достаточно быстро вошел во многие языки, поскольку очень точно характеризовал международную обстановку того времени: острое противостояние двух систем с гонкой вооружений, созданием военных блоков, экономическим давлением, разведкой (шпионажем), идеологической клеветой и т.д. Тогда же возникли и такие словосочетания, как *политика с позиций силы, балансирование на грани войны, атомная дипломатия* и др.

Русский перевод английского словосочетания появился уже в начале 1948 года: “Холодная война. Так они [американцы. – А.Ш.] сами называют свою деятельность в сфере международной политики. Холодная война – не журнальная метафора. Это декларирует сам Джордж Маршалл” (Лит. газета. 1948. 31 марта).

Ситуация в мире быстро накалялась. И. Эренбург тогда часто выезжал по другую сторону железного занавеса и знал положение по обе линии фронта. В книге “Люди, годы, жизнь” он писал, что в 1949 году холодная война проникла даже в “повседневный быт”, а в 1950-м готова была вот-вот перейти в горячую – Третью мировую. В этот период (1949 г.) в русскоязычной тбилисской газете “Заря Востока” была опубликована карикатура на английского фельдмаршала Б.Л. Монтгомери “Горячий участник холодной войны” (см. каталог худож. выставки “Борьба за мир против поджигателей войны”. М., 1950). То есть оксиморон активно входил в языковой оборот. А вскоре это словосочетание уже органично влилось в гражданскую поэзию: Мы “правилам боя остались верны / на пороге холодной войны” (К. Симонов. Новогодняя ночь в Токио. 1954). Правда, на первых порах его еще заключали в кавычки, опущенные нами при цитировании.

Холодная война длилась долго, фактически до конца XX века. Во время визита в Москву госсекретарь США заявил в своем интервью: "... холодная война окончилась, Россия и США теперь друзья, и нам не нужно противостояние с ракурса холодной войны" (С.-Петербургские ведомости. 2004. 7 фев.). Однако при этом "никто в Вашингтоне не вспоминает о трех триллионах долларов, сбереженных Западом благодаря уходу Москвы из противостояния холодной войны" (Лит. газета. 2004. 25 фев. – 2 марта).

Интересно отметить неожиданное использование этого термина в "обратной перспективе". Историк Т.Л. Лабутина пишет, что в 1720-х (!) годах «Великобритания и Россия находились, по определению британского историка М. Андерсона, в состоянии "холодной войны", которая в любой момент грозила перерасти в открытое столкновение». Книга Андерсона на английском языке вышла в 1958 году (Вопросы истории. 2003. № 9).

Многие современные российские политологи считают, что Гражданская война у нас не закончилась, она лишь приобрела иные формы: "Это качественно новый уровень холодной Гражданской войны" (Лит. газета. 2004. 25 фев. – 2 марта). Как видим, старый термин живет и в наши дни.

Практически одновременно с *холодной войной* (в конце 1940-х гг.) родилась метафора-антипод – *холодный мир*, характеризующая индифферентность, безразличие в международных отношениях. В России этот оборот сравнительно недавно (в 1994 г.) использовал Б.Н. Ельцин: "Мы переживаем период, который я назвал бы периодом холодного мира" (Душенко К.В. Указ. соч.). Термин фигурирует в языке и сегодня, хотя употребляется нечасто: «Если Вашингтон будет безостановочно клеймить беспечный русский реформизм, а Москва всё более ожесточаться по поводу легкомысленных советов, то финалом станет "холодный мир"» (Лит. газета. 2004. 25 фев. – 2 марта).

Санкт-Петербург